

Роберт Стивенсон

Тайна корабля



Роберт Льюис Стивенсон

Тайна корабля

«Public Domain»

1892

Стивенсон Р.

Тайна корабля / Р. Стивенсон — «Public Domain», 1892

«Дело происходило во французском главном городе и гавани Маркизских островов Таи-О-Хае, около трех часов пополудни, в зимний день. Дул порывистый и крепкий муссон; волны прилива с грохотом набегали на берег, усыпанный крупной галькой. Пятидесятитонная военная шхуна под французским флагом, представительница французской власти на этой людоедской группе островов, покачивалась на месте своей стоянки под Тюремной горой. На мрачных окружающих горах нависли тяжелые, черные тучи. С самого утра шел дождь, настоящий тропический ливень, который падает потоками, словно из водопроводной трубы; сумрачные зеленеющие скаты гор местами были прорезаны серебристыми лентами бурных потоков...»

© Стивенсон Р., 1892

© Public Domain, 1892

Содержание

Пролог	6
Глава I	13
Глава II	20
Глава III	26
Глава IV	34
Глава V	41
Глава VI	49
Глава VII	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Роберт Стивенсон

Тайна корабля

The Wrecker, 1892

* * *

Пролог На Маркизских островах

Дело происходило во французском главном городе и гавани Маркизских островов Таи-О-Хае, около трех часов пополудни, в зимний день. Дул порывистый и крепкий муссон; волны прилива с грохотом набегали на берег, усыпанный крупной галькой. Пятидесятитонная военная шхуна под французским флагом, представительница французской власти на этой людоедской группе островов, покачивалась на месте своей стоянки под Тюремной горой. На мрачных окружающих горах нависли тяжелые, черные тучи. С самого утра шел дождь, настоящий тропический ливень, который падает потоками, словно из водопроводной трубы; сумрачные зеленеющие скаты гор местами были прорезаны серебристыми лентами бурных потоков.

На этих островах, при их жарком, здоровом климате, зима существует только по календарю. Дождь не освежает, а ветер не бодрит обитателей Таи-О-Хае. Комендант города приказал сделать кое-какие переделки в саду своей резиденции за Тюремной горой; садовники, все каторжники, должны были повиноваться, но вся прочая публика спокойно дремала и не хотела нарушать своего покоя. Дремала туземная королева Вакеху в своем опрятненьком домике под шелест пальмовых листьев; дремал таитянский миссионер в своей увенчанной флагом официальной резиденции; дремали купцы в своих пустынных магазинах; даже у служащих в клубе головы клонились на буфетную стойку с бутылками, украшенную большой картой обоих полушарий и морскими картами. На протяжении всей единственной набережной улицы, с домиками, обращенными к морю, осененными купами пальм и зелеными зарослями кустарников, не было видно ни одной движущейся фигуры. Только около расшатавшейся пристани, которая когда-то, в благословенные дни американского возмущения, предназначалась для того, чтобы трещать и завывать под тяжестью хлопковых тюков Джона Херта, можно было, всмотревшись внимательно, разглядеть на куче разного мусора знаменитого татуированного белого человека, живое чудо Таи-О-Хае.

Его широко раскрытые глаза были устремлены на залив. Он видел, как понижаются горы, подходя к берегу залива, и дробятся там на утесы. Прибой клокочет и кипит белой пеной около двух сторожевых островков, а посреди них высоко над голубым горизонтом поднимается Уа-Пу и вздымает силуэты своих башенных вершин. Но его ум не цепляется за эти окружающие предметы. В то время, как он пребывает между сном и бодрствованием, память подставляет ему обрывки прошлого: темные и белые лица капитанов и боцманов, королей и начальников; все это вдруг всплывает перед ним и потом исчезает. Он вспоминает минувшие странствования, ему чудятся берега земли, появляющиеся на рассвете дня; он слышит грохот барабана, призывающего на людоедское пиршество. Может быть, вспоминается ему и та принцесса, ради любви которой он отдал свою кожу в руки татуировщика. И вот теперь сидит он на куче мусора, около сваи, в гавани Таи-О-Хае, являя собой престранную фигуру европейца. Или, может быть, память его проникает еще глубже в прошлое, вызывает перед ним звуки и сцены Англии и его детства: веселый звон церковных колоколов и заросли дрока на мысе, и песню где-нибудь на реке или на запруде.

В заливе вода очень глубокая. Вы можете направить судно прямо на один из островков и пройти так близко от него, что между его скалистым боком и судном можно растереть сухарь. Случилось, что в то время, как татуированный человек сидел и клевал носом, он вдруг был разбужен и приведен в самое деятельное настроение появлением бом-клевера позади западного островка. За верхним парусом последовали два других, и прежде чем татуированный вскочил на ноги, около сторожевого островка появилась шхуна водоизмещением тонн в сотню, и шла посреди залива в бейдевинд.

Спящий городок пробудился словно по волшебству. Со всех сторон появились туземцы, возбуждавшие один другого криком: «Эхиппи!» (судно). Королева вышла на балкон, прикрывая глаза от солнца рукой, которая могла считаться образцовым произведением искусства татуировки. Комендант бросил своих каторжан и побежал к себе домой за подозрительной трубой. Капитан над портом, он же и тюремный смотритель, впопыхах прибежал на Тюремную гору. Семнадцать канаков и француз-боцман, составлявшие экипаж военной шхуны, собрались на палубе. Англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы, шотландцы – купцы и конторщики Таи-О-Хае, бросили занятия и, по обычаю, все собрались на дороге перед клубом.

Все расстояния в Таи-О-Хае были так незначительны, и белые собрались со всех сторон так скоро, что между ними начались толки о национальности и назначении иностранного судна, прежде чем оно стало на якорь. Скоро на его большой мачте появился британский флаг.

– Я говорил вам, что это Джон Бульль, – это по парусам видать! – говорил вечно юный моряк, еще способный, если б нашел судовладельца, не знакомого с его биографией, украшать собой новый квартердек и дезертировать еще с одного судна.

– Однако постройка его американская, – заявил инженер-шотландец с хлопкотрепального завода. – По-моему, это яхта.

– Это яхта! – отозвался старый моряк. – Взгляните на боканцы и на бот на корме!

– У вас в глазах яхты прыгают! – заметил уроженец Глазго. – Взгляните только на его флаг. Яхта!.. Выдумают тоже!

– Можете записать магазин, Том! – вежливо посоветовал немец. – *Bonjour, mon prince!* – прибавил он, увидев интеллигентную внешность туземца, подъехавшего на опрятной бурой лошадке. – *Vous allez boire un verre derrière?*¹.

Но принц Станислав Моанатини, единственное разумно занятое существо на всем острове, упрямо стремился на свою экскурсию в горы с целью осмотреть обвал на горной дороге. Солнце клонилось к закату, приближалась ночь. И если он желал избежать гибельных случайностей, какими грозила в горах и тьма, и пропасти, и страх смерти, и все обычные опасности в джунглях, то ему приходилось волей-неволей отклонить любезное приглашение. Если б он даже весь горел, так и то отказался бы освежиться.

– Пиво! – вскричал глазговский голос. – Как бы не так! Могу вам доложить, что в клубе осталось всего восемь бутылок. А мы здесь в первый раз видим британский флаг, уж, наверное, тот, кто пришел под этим флагом захочет попробовать пивца.

Такое предположение, хотя и найдено было публикой правильным, однако не очень-то понравилось. С некоторого времени само слово пиво стало каким-то печальным звуком в клубе, и вечера проходили в скучных торговых расчетах.

– Хевенс пришел! – крикнул кто-то, видимо радуясь предмету для разговора. – Что вы думаете об этом судне, Хевенс?

– Я не думаю, – возразил Хевенс, толстый, белокурый, холодный, досужий англичанин, одетый в безукоризненный полотняный костюм, старательно возясь с папироской, – я не думаю, а знаю. Об этом судне меня известили Дональд и Эденборо из Аукленда. Я сейчас туда и отправляюсь.

– Да что это за судно? – спросил старый моряк.

– Не имею понятия, – ответил Хевенс. – Так, зафрахтовали какое-нибудь первое попавшееся.

Он безмятежно продолжал свой путь и скоро уселся в шлюпку, которой управляли суетливые канаки. Он осторожно уселся, чтобы как-нибудь не запачкаться, и, отдавая приказания таким голосом, как будто сидел за обеденным столом, понесся к шхуне.

Загорелый капитан встретил его на шкафуте.

¹ Здравствуйтесь, принц. Не выпьете ли стакан пива?

– Меня о вас известили, – сказал ему Хевенс. – Я Хевенс.

– Да, сэр, – отвечал, пожимая ему руку, капитан. – Пожалуйста вниз; там вы повидаетесь с владельцем судна, мистером Доддом. Только осторожнее, у нас недавно красили.

Хевенс спустился вниз по ступеням в большую каюту.

– Мистер Додд? – обратился он к маленькому бородатому джентльмену, который писал, сидя у стола. – О, да неужели это Лоудон Додд?

– Он самый, дорогой дружище, – ответил мистер Додд, живо и с самым дружественным чувством вскакивая с места. – Я и сам думал, что буду иметь дело с вами, когда увидел ваше имя в бумагах. Да вы ничуть не изменились, все такой же мирный, спокойный, свеженький британец.

– Могу вам ответить такой же любезностью, потому что вы сами стали еще британистее, – ответил ему Хевенс.

– О, я ничуть не переменялся, – сказал Додд. – Эта красная салфетка наверху мачты совсем не мой флаг, а моего компаньона. Он не умер, а уснул. Вот он, – прибавил он, указывая на бюст, который составлял одно из многочисленных неожиданных украшений этой необычайной каюты. Хевенс вежливо всмотрелся в бюст.

– Прекрасный бюст, – сказал он. – И очень изящный господин.

– Да, славный малый, – сказал Додд. – Теперь он расстается со мной. Вот тут и все его капиталы.

– Мне кажется, что у него не ощущается особенной скудости в средствах, – сказал Хевенс, с возрастающим изумлением оглядывая каюту.

– Деньги его, вкус мой, – сказал Додд. – Вот эта этажерка черного ореха – старинная, английская. Книжки все мои, а этажерка во вкусе французского ренессанса. На эту вещь у нас все заглядываются. Зеркала – настоящие венецианские; вон там, в углу, превосходное зеркало. Эта мазня красками и его, и моя, а глина – моя.

– Как глина? Что такое? – недоумевал Хевенс.

– Да вот эти бронзовые штуки, – сказал Додд. – Я ведь начал жизнь с того, что сделался скульптором.

– Ах, да, я что-то такое припоминаю, – отозвался его собеседник. – Потом вы, кажется, еще говорили, что заинтересованы в какой-то недвижимости в Калифорнии?

– О, я так далеко не заходил, – сказал Додд. – Заинтересован!.. Вовлечен, впутан, это еще пожалуй. Ведь я рожден артистом и ничем, кроме искусства, никогда не интересовался. Если б мне завтра снова пришлось наполнять эту старую шхуну, я, вероятно, опять в нее нагромоздил бы то же, что вы сейчас видите.

– У вас это все застраховано? – спросил Хевенс.

– Да, – ответил Додд. – Нашелся один дурак в Сан-Франциско, который нас страхует и ходит к нам за получением премий, словно волк в овчарню; но рано или поздно мы войдем к нему в милость.

– Ну-с, я полагаю, что мой груз в порядке? – сказал Хевенс.

– О, я полагаю! – ответил Додд. – Хотите взглянуть на документы?

– Знаете, отложим до завтра, – сказал Хевенс. – Теперь вас ждут в клубе. C'est l'heure de l'absinthe². Ведь обедаете со мной, Лоудон?

Додд изъявил согласие. Он не без некоторого затруднения напялил свой белый сюртук; он был человек средних лет и благоденствующий. Он привел в порядок свои усы и бороду перед венецианским зеркалом, взял широкополую поярковую шляпу и поднялся на палубу.

Кормовая шлюпка уже ждала его, стоя вдоль судна. Это было изящное суденышко с мягкими сиденьями и полированными деревянными частями.

² Теперь время пить абсент.

– Садитесь за руль, – сказал Лоудон. – Вы лучше знаете место, где высадиться.

– Я не люблю править рулем на чужой лодке, – возразил Хевенс.

– Ничего, беритесь-ка за румпель, – сказал Лоудон, спокойно усаживаясь.

Хевенс без дальнейшего протеста взялся за руль.

– Я, признаюсь, не могу понять, какая вам будет прибыль от этого судна? – сказал он. – Начать с того, что оно велико для торговли. Притом у вас тут все так устроено на широкую ногу.

– Право, не знаю, какая будет прибыль, – сказал Лоудон. – Я никогда и не претендовал на деловитость. Мой компаньон ликует. Деньги – его, как я вам уже говорил. Я только так, помогаю.

– Вам больше нравится каюта да койка, правда? – пошутил Хевенс.

– Да, – ответил Лоудон. – Это нехорошо, но это правда, что я больше люблю каюту.

Солнце закатилось, когда они были еще в лодке. С военного корабля раздался выстрел, возвещающий о закате, и на нем подняли французский флаг. Когда они выходили на берег, настала уже тьма. «Cercle International», как величал себя местный клуб, начал мало-помалу выделяться из тьмы огнями своих ламп. Начались наилучшие часы из двадцати четырех в сутках. Противная, ядовитая нукагивская муха понемногу сбавляла свою назойливость; потянуло прохладненьким вечерним ветерком; клубные посетители собирались в компанию провести вместе «час абсента». Мистер Лоудон Додд был представлен решительно всем: самому коменданту, господину, с которым он удостоивал играть на бильярде (купцу с соседнего островка, почетному члену клуба, некогда плотнику на американском судне), портовому доктору, жандармскому бригадиру, фермеру, производителю опиума, каждому белому, которого судьбы торговли или случайности дезертирства с судна закинули на набережную Таи-О-Хае. И каждый отнесся к нему с отменной любезностью, потому что он обладал располагающей внешностью, мягкими манерами, редкой общительностью и свободно изъяснялся по-французски и по-английски. Теперь он, имея под рукой одну из оставшихся в клубе последних восьми бутылок пива, сидел за столом на веранде, представляя собой центр сплотившейся вокруг него оживленной группы.

Разговор в южных морях ведется по одному образцу. Океан там широк, но мир узок. Чуть лишь беседа затянется, и вы неизбежно услышите имя Болли Хейса, героя-мореплавателя, подвиги и слава которого мало известны в Европе. Коснется речь и коммерции: копры, раковин, пожалуй, хлопка, либо водорослей, но так, между прочим, мимоходом, не возбуждая глубокого интереса. Имена шхун и их командиров будут порхать в разговоре тучей, как майские мухи. Подробности кораблекрушений будут охотно обсуждаться и оспариваться. Новый человек найдет такой разговор не особенно блестящим. Но он скоро войдет во вкус. Протаскавшись с год по островам, увидав и узнав порядочное число шхун, услышав множество повествований о подвигах капитанов во вкусе мистера Хейса, по части контрабанды, крушений, злостных аварий, пиратства, торговли и других родственных с перечисленными сферах человеческой деятельности, новичок убедится в конце концов, что Полинезия нисколько не уступит в смысле интереса и поучительности ни Лондону, ни Парижу.

Мистер Лоудон Додд был новичком на Маркизских островах, но он был старый, бывалый купец на соленой воде. Он знал и суда, и капитанов. Он в других местах присутствовал при начале некоторых карьер, о которых ему теперь рассказывали, как о достигших кульминационного пункта, или, наоборот, сам мог порассказать о финале на дальнем юге разных историй, начавшихся здесь, в Таи-О-Хае. А он, кстати, мог сообщить интересную новость по части кораблекрушений; такая обычная судьба шхун южных островов постигла «Джона Ричардса».

– Дикинсон отправил на нем груз на остров Пальмерстон, – рассказывал Додд.

– А кто владельцы? – спросил один из завсегдатаев клуба.

– Капсикум и К°, дело известное! – отвечал Лоудон.

Группы слушателей обменялись между собой улыбками и кивками людей, понимающих, в чем дело. Лоудон, кажется, удачно выразил общее настроение замечанием:

– Говорят, это вышло удачное дело. Нет ничего лучше доброй шхуны, бывалого капитана да удачно выбранной подводной скалы.

– Да, дело хорошее, как бы не так! – возразил глазговский голос. – А по-моему, лучше всех дела ведут миссионеры.

– Не знаю, – отозвался другой голос, – по-моему, опиум – вот хорошее дело.

– А то вот еще набег на заповедные острова с жемчужными устрицами, – проговорил третий голос. – Так, примерно на четвертый год запрета, сделал набег на лагуну, да и наутек, прежде чем увидят французы.

– Кароший тело польшой замородка золот, – сказал свое мнение немец.

– Нет, кораблекрушения в самом деле кое-что стоят, – сказал Хевенс. – Вот в Гонолулу, например, один человек купил судно, которое попало на рифы у Вайкики. Дул крепкий ветер и начал трепать судно о рифы, как только оно их коснулось. Агент Ллойда продал его в час. Не успело стемнеть, как судно уже было разметано в щепки, а человек, который его купил, разбогател, бросил дела и потом выстроил себе дом на Беретанской улице и назвал его именем того судна.

– Да, кораблекрушения иной раз бывают удачные, – произнес глазговский голос, – только не часто.

– Можно принять за правило, что в них чертовски мало проку, – сказал Хевенс.

– Верно! – крикнул глазговец. – Нет, по-моему, лучше всего овладеть тайной какого-нибудь богатого человека, да около него и погреть руки.

– Это не так-то легко, – заметил Хевенс.

– Это все равно, не в том дело, – стоял на своем глазговец. – А вот только скверно то, что здесь, в южном море не так-то легко раздобыть такую тайну, как в Лондоне или Париже.

– Мак-Гиббон, должно быть, вычитал об этом из какого-нибудь дешевого романа, – заметил один из завсегдатаев клуба.

– Из «Авроры Флойд», – отозвался другой.

– А если бы и так? – горячился Мак-Гиббон. – Ведь это верное дело! Почитайте в газетах! Вы ничего не знаете, оттого и зубоскалите. А я вам говорю, что это будет почище страховки, да и честнее.

Резкость последних замечаний побудила Лоудона, человека миролюбивого, вмешаться в разговор.

– Это может показаться странным, – сказал он, – но я практиковал, кажется, все упомянутые в нашей беседе способы добывания средств к жизни.

– Как, вы находили золотой замородка? – спросил немец.

– Нет, я много делал глупостей в жизни, – возразил Лоудон, – но по части золотоискательства неповинен. У каждого человека найдется здоровый участок мозга.

– Ну, так что же? Вы, может быть, вели торговлю опиумом? – спросил кто-то.

– Да, вел, – отвечал Лоудон.

– Это доходное дело?

– Конечно, – отвечал Лоудон.

– И кораблекрушениями занимались? – спросил кто-то другой.

– Да, сэр, – сказал Лоудон.

– Как же вы это делали? – продолжал спрашивавший.

– Я прибегнул к особому способу крушения, – ответил Лоудон. – Надо вам сказать, что я вообще никому не рекомендую этой отрасли промышленности.

– Судно потерпело крушение? – спросил кто-то.

– Скорее я потерпел крушение, – сказал Лоудон. – Не хватило смекалки.

– И шантаж пробовали? – спросил Хевенс.

– Это так же верно, как то, что я сижу перед вами, – ответил Лоудон.

– Доходная вещь?

– Видите ли, я неудачник, – ответил Додд. – А должно быть, доходная.

– Вам удалось овладеть чужой тайной?

– И громадной, величиной с Техас.

– А тот-то богат был?

– Ну, хоть и не так, как Джей Гульд, но ручаюсь, что он мог бы купить эти острова, если б пожелал.

– Ну, так в чем же дело? Он выскользнул у вас из рук?

– Пришлось немало повозиться. В конце концов я притиснул его к стене. Но тут...

– Что тут?..

– Все пошло прахом. Я сделался закадычным другом моей жертвы.

– Что за чертовщина!..

– Вы, быть может, думаете, что он был уж очень неразборчив? – спросил Лоудон в шутовском тоне. – Нет, это был на редкость симпатичный человек.

– Ну, Лоудон, – сказал Хевенс, – вы начали говорить нелепости. Пойдемте-ка обедать.

Окружающая ночь была вся полна ревом прибора. В куцах зелени мелькали светлячки. Туземные женщины ходили группами, по две, по три, и, встречая двух белых, улыбались им, строили глазки и, не удостоившись внимания, проходили мимо, оставляя позади себя крепкий запах пальмового и миндального масла.

От клуба до дома Хевенса было рукой подать, но для европейца этот переход показался бы вступлением в какую-то волшебную страну. Если б такой человек последовал за нашими двумя друзьями в этот дом с просторной верандой, уселся вместе с ними в прохладной комнате, где на столе, покрытом скатертью, сверкало вино при ярком свете лампы; если б он отведал вместе с ними экзотическую пищу: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареную свинину, приправленную неподражаемым мити и царем тонкой снеди, салатом из капустной пальмы; если б он видел и слышал временами фигуры и шаги хорошеньких туземных молодых женщин, то появляющихся в дверях, то исчезающих, казавшихся слишком скромными, чтоб их принять за членов семьи, и слишком гордыми, чтоб их принять за прислугу, – и если б после того он вновь внезапно перенесся к себе домой, к собственному домашнему очагу, он, наверное, протер бы себе глаза и сказал бы: «Все это мне приснилось. Я видел во сне, что был где-то в доме, но только в таком доме, который похож на небо».

Додд и его собеседник, как люди привычные, не были особенно поражены прелестью этой тропической ночи, и все, что было перед ними на столе, тоже давно уже вошло в обиход их повседневной жизни. Они ели, как люди с добрым аппетитом, и вели ленивый разговор, как люди утомившиеся.

Вспомнили и сцену в клубе.

– Никогда еще я не слыхивал, Лоудон, чтобы вы наговорили столько чепухи, – сказал хозяин.

– Да, мне показалось, что в воздухе запахло порохом, я и начал разговор для разговора, – ответил Додд. – Только никакой чепухи я не сказал.

– Да неужели же все это правда? – закричал Хевенс. – И насчет опиума, и о кораблекрушении, и о шантаже, и о том, что этот человек стал вашим другом?..

– Все правда, от первого слова до последнего, – сказал Лоудон.

– Ну, коли так, то видали вы виды на своем веку! – ответил Хевенс.

– Да, это занимательная история, – сказал его друг. – Если вы хотите, я, пожалуй, расскажу вам.

Дальше и следует рассказ Лоудона Додда, только не в том виде, как он его передавал своему другу, но в том виде, как тот его потом записал.

Глава I

Основательное коммерческое образование

Исходной точкой этой истории был характер моего бедного отца. Никогда еще не было человека лучше и прекраснее его, но и никогда не было, по-моему, более несчастливой человека – несчастливой в своих делах, в своих развлечениях, в выборе места жительства и – нечего делать, надо и об этом сказать, – в своем сыне.

Начал он свою карьеру землемером, потом приобрел недвижимую собственность, пускался в разные спекуляции и сделался известным по всему штату Мускегон³ как один из самых едких насмешников.

– У Додда большая голова⁴, – говорили про него. Я никогда не веровал в его особые способности. Ему, без сомнения, долго везло: усердие же никогда ему не изменяло. Он вел свою повседневную борьбу за приобретение денег с неизменной честностью, словно какой-то мученик. Он рано вставал, наскоро закусывал, возвращался домой весь усталый и измотанный, даже в случае удачи. Он отказывал себе во всяких развлечениях, и, казалось, его натура была чужда им, что временами даже поражало меня. Он вкладывал всю свою удивительную добросовестность и бескорыстие в такие дела и предприятия, которые по своей сути мало чем отличались от грабежа на большой дороге.

К несчастью, я ни в грош не ставил что-либо, кроме искусства, да никогда и не буду ставить. По-моему, главная задача человека и цель его жизни должна состоять в том, чтоб обогатить мир произведениями изящного искусства, и я потратил немало своего времени на выполнение этой задачи. Я не любил распространяться о таком времяпрепровождении, но отец заметил это умолчание и все мое стремление к искусству понимал как простое потворство своим капризам.

– Ну, а вы! – крикнул я ему как-то раз. – Вы на что тратите себя всю жизнь? Вам только бы добывать деньги, да притом добывать их от других!

Он, по своему обыкновению, огорченно вздохнул и покачал своей бедной головой.

– Эх, Лоудон, Лоудон! – сказал он. – Все вы, мальчуганы, считаете себя бойцами. Впрочем, что ж, борись как хочешь. В этом мире человек должен работать. Что-нибудь одно, Лоудон: надо быть либо честным, либо вором.

Из этого вы можете видеть, что с моим отцом трудно было спорить. Взяло меня горе после этой беседы с ним, да еще горе-то это увеличивалось угрызениями совести. Я иной раз бывал и грубоват с ним, а он был всегда неизменно мягок. Я воевал за свою личную свободу, отстаивал собственное удовольствие, он же думал только о моем благе. И никогда не впадал в отчаяние.

– Ведь в тебе основа добрая, Лоудон, – говаривал он мне. – В тебе просто горячится кровь, тебе хочется поскорее добиться своего. Но я не боюсь, что мой мальчик захочет огорчить меня; мне только неприятно, что он иной раз скажет вздор.

И он трепал меня по плечу, либо по руке с чисто материнской нежностью, которая была особенно трогательна в таком сильном и прекрасном человеке.

Когда я окончил курс в средней школе, он определил меня в Мускегонскую Коммерческую академию. Вы иностранец, и вам трудно будет понять реальность такого учебного заведения. Но уверяю вас, что я говорю вполне серьезно. Такое заведение действительно существовало и, возможно, существует и теперь. Наш штат гордился им как вещью, которая кладет на

³ Название вымышленное. Такого штата в Северной Америке не существует.

⁴ Big head (буквально – большая голова) – американизм, слово, употребляемое американцами для обозначения испорченности подрастающего поколения. Это что-то вроде наших эпитетов: сорванец, баловень, вольница, сорви-голова (*прим. перевод.*).

страну особенный, исключительный отпечаток девятнадцатого века и является плодом цивилизации. И отец, смотря на меня в ту минуту, когда я садился в вагон, вероятно, думал про себя, что он направил меня на прямой путь к будущему президентству.

– Лоудон, – говорил он, – я предоставляю тебе то, что не мог бы предоставить своему сыну сам Юлий Цезарь, – я даю тебе возможность видеть жизнь, какова она есть, прежде чем ты сам в свою очередь начнешь серьезную жизнь. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя джентльменом и, коли захочешь, послушайся моего совета, ограничивайся верным делом – железнодорожным. Правда, дела с хлебом и мукой очень соблазнительны, но и очень опасны; в твои годы я не стал бы вязываться в дела с хлебом; но, может быть, ты больше склонен к каким-нибудь другим делам. Гордись порядком, в котором содержишь свои торговые книги, никогда не швыряй деньги на ветер. Теперь, милый мой мальчик, поцелуй меня на прощанье и никогда не забывай, что ты мой единственный цыпленочек, и что твой папа будет следить за твоей карьерой с безумной тревогой.

Коммерческая школа занимала прекрасное, просторное здание, красиво окруженное деревьями. Воздух был здоровый, пища превосходная, плата высокая. Электрические провода соединяли ее, придерживаясь выражений объявления о ней, «с разными центрами мира». Читальня была обильно снабжена «коммерческими органами печати». Ученики, которых было в ней от полусотни до сотни, побуждались вести игру между собой на номинальные суммы, стараясь при этом поддеть друг друга; для этого завели особые «школьные бумаги».

По утрам были лекции, во время которых мы изучали немецкий и французский языки, бухгалтерию и другие такие же приятные вещи. Но наше главное занятие в течение дня, самая суть нашего обучения сосредоточивалась на бирже, где мы наглядно обучались обращению с ценностями. Так как ни у одного из нас не было ни бушеля зерна и ни на один доллар имущества, то первоначально мы и не могли вести никакого настоящего дела. Это было простое обучение игре, ничем не замаскированное. Именно потому, что всякое действительное коммерческое состязание тут было устранено, мы и могли предаваться игре совсем как на театральной сцене. Наше подобие рынка дополнялось тем, что мы должны были соблюдать его внешность и практиковаться в рыночном колебании цен. Мы были обязаны вести книги, и в конце каждого месяца наши главные книги поступали на просмотр к директору школы или его помощникам. Для большего сходства с действительностью были пущены в обращение особые «школьные ассигнации», вроде фишек в карточной игре. Родители или опекуны приобретали известный запас этих фишек для каждого ученика, по одному центу за доллар. Потом, по окончании курса, ученик перепродавал все, что у него оставалось, по той же цене, да и во время обучения иной изворотливый делец, случалось, «реализовывал» часть своих капиталов и мог по секрету устроить пирушку где-нибудь в соседнем поселке. Короче говоря, мудрено было бы сыскать где-нибудь на свете учебное заведение с худшей системой воспитания.

Когда меня в первый раз привели на биржу и один из учителей поместил меня за конторкой, я был прямо ошеломлен царящим там смятением, шумом и гамом.

Черные доски на другом конце помещения были покрыты какими-то цифрами, беспрестанно сменяющимися. Как только появлялся новый ряд цифр, ученики наши приходили в ажиотаж и поднимали рев, который в моих глазах был лишен всякого смысла; они вскакивали на сиденья, на конторки, делали какие-то сигналы головами и руками и что-то возбужденно записывали. Мне казалось, что я за всю свою жизнь не видывал более неприятной сцены. При этом я помнил, что ведь вся эта коммерческая суэта – одна иллюзия, что на все ваши капиталы можно было купить разве только пару коньков. Я был очень изумлен, хотя и ненадолго. В самом деле, едва успел я сосредоточить свое внимание на внезапно появившихся, видимо богатых, мужчинах и женщинах, вышедших из себя по поводу какой-то отметки в полпенни, как мне пришлось перенести все свое изумление на одного из наших учителей, который – бед-

ный джентльмен! – совсем забыл обо мне и моей конторке и остановился посреди этого гвалта, весь поглощенный им и, видимо, не владевший собой.

– Смотрите, глядите, – крикнул он мне на ухо, – полное падение! Медведи⁵ еще со вчерашнего дня успели все кончить!

– Ведь это ничего не значит, – возразил я, с трудом перекрикивая всеобщий гомон, среди какого я не привык говорить, – ведь все это только так, для виду.

– Совершенно верно, – сказал он. – И вы всегда должны помнить, что главная суть состоит в бухгалтерии. Я уверен, Додд, что смело могу вас поздравить с вашими книгами. У вас капитал в десять тысяч долларов в школьных ассигнациях. Это хороший капитал, благодаря которому вы будете на виду во все время обучения, если только вы выберете себе верное и надежное дело... Но что это? – вдруг прервал он свою речь, увидав на доске новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам везет! Это самое оживленное собрание за текущий курс. И подумать только, что такая же самая сцена происходит теперь в Нью-Йорке, Чикаго и других соперничающих между собой центрах! Я и сам охотно рискнул бы двумя центами вместе с нашими юношами, – кричал он, потирая руки, – да нельзя, устав не позволяет.

– Что вы хотели бы сделать, сэр? – спросил я.

– Что сделать? – воскликнул он, сверкая глазами. – Да рискнуть всем своим капиталом!

– Разве это такое верное и надежное дело? – спросил я с невинностью агнца.

Он бросил на меня уничтожающий взгляд.

– Видите вы этого человека в очках, с волосами песочного цвета? – спросил он, как бы желая переменить разговор. – Это Билльсон, наш выдающийся ундер-градуат⁶. Мы твердо верим в будущее Билльсона. Вы ничего лучше не придумаете, Додд, как следовать примеру Билльсона.

Вслед затем, среди возраставшего гвалта из-за этих цифр, все более и более оживленно сменявшихся на доске, посреди этого зала, превратившегося в какой-то пандемониум, наполненный воем дельцов, мой учитель отошел от меня и предоставил меня за моей конторкой собственному усмотрению. Мой сосед ученик сидел за своей главной книгой, вписывая в нее, как я узнал потом, свои утренние убытки, и среди этого неблагодарного занятия развлекался созерцанием нового лица.

– Слушайте-ка, новичок, – обратился он ко мне, – как вас зовут?.. Как?.. Сын Додда, большеголового?.. Велик ли ваш капитал?.. Десять тысяч?.. Так что вам за охота возиться с вашими книгами?

Я спросил у него, как же мне быть, коли книги просматриваются каждый месяц.

– Экий вы простофиля! Наймите писца! – крикнул он мне. – Возьмите кого-нибудь из праздношатающих; тут их сколько угодно. Если вы успешно оперируете, то вам никогда не придется и пальцем двинуть, пока вы будете здесь, в этой старой школе.

Гвалт становился теперь оглушительным. Мой новый друг сообщил мне, что кто-то «провалился», что надо сбегать, узнать новости, и что когда он вернется, то приведет мне писца-конторщика. Он застегнулся на все пуговицы и нырнул в бурную толпу. Он был прав; кто-то провалился; рушилось чье-то могущество, а в результате он вернулся ко мне с конторщиком, который извлек на свет мои книги, избавив меня от всякого труда, и понес на себе весь груз моего коммерческого образования за тысячу долларов в месяц на наши, школьные деньги (десять долларов по курсу монеты Соединенных Штатов); и это был не кто иной, как многообещающий Билльсон, тот самый, про которого учитель говорил, что я лучше ничего не придумаю, как следовать его примеру. Бедняге не везло. Единственное доброе слово, какое я могу сказать о нашей Мускегонской торговой коллегии, это то, что все мы, словно стайка молодых

⁵ Медведями (bear) на американских биржах называются спекулянты на понижение бумаг.

⁶ Студент, еще не получивший первой ученой степени.

рыбешек, были так запуганы, что нас нельзя было и причислить к виноватым. Падение такого коммерческого принца, как Билльсон, который так чванился в дни своего величия, было как-то особенно тяжело видеть. Но дух следования внешним приличиям поборол даже горечь недавнего позора, и мой конторщик вступил в свою должность, соблюдая всю подобающую учтивость и вообще внешний декорум.

Таковы были мои первые впечатления в этом нелепом учебном заведении, и, говоря по правде, они не были особенно неприятны. Пока я оставался богачом, мои вечера и послеобеденное время были в моем полном распоряжении. Мой письмоводитель вел мои книги, он же за меня толкался и драл горло на бирже; а я себе спокойно рисовал ландшафты, либо читал романы Бальзака, – два моих любимых занятия. Теперь у меня была только одна забота – оставаться богачом, или, другими словами, заниматься только верными делами. Я и до сих пор соблюдаю это правило. Я полагаю, что в сем несовершенном мире лучше всего придерживаться такой спекуляции, которая предательски предлагается ребятам в формуле: «Орел – я выигрываю, решка – ты проигрываешь». Помня напутственные слова отца, я робко обратил свое внимание на железные дороги. С месяц или около того я выдерживал позицию безусловного равновесия, делая ставки лишь в ничтожных делах и терпеливо перенося презрительное отношение ко мне моего письмоводителя. Однажды я было попытался чуть-чуть рискнуть, действовать пошире и, будучи убежден, что акции будут падать, продал на несколько тысяч долларов бумаг какой-то компании сковородок. Едва я это совершил, как какие-то болваны в Нью-Йорке начали спекулировать на повышение, и мои «сковородные» вдруг вздулись как пузырь. В какие-нибудь полчаса мое состояние оказалось крепко скомпрометированным. Во мне заговорила кровь, как выражался мой отец. Я отважно встретил удар. Весь день я хлопотал над продажей этих чертовых акций. Должно быть, я шел прямо наперекор махинациям Джея Гульда, и вообще вся эта моя выходка наделала шума. В нашей школьной газете имя Лоудона Додда в тот день заняло заметное место. Я и Билльсон, вновь вынырнувший на поверхность, приглашались на одно и то же место клерка. Мое несчастье было более заметное, и место осталось за мной. Как видите, даже и в Мускегонском торговом училище было чему поучиться.

Что касается меня, то я мало заботился о том, теряю или выигрываю в этой сложной, азартной и глупой игре. Но все же пришлось сообщать бедному моему отцу довольно-таки печальные новости, и мне понадобились на это все ресурсы моего красноречия. Я писал ему (и это была правда), что благоуспевающие молодые люди вообще не блещут воспитанием, и что если он хочет меня чему-нибудь обучать, то пусть порадуется моей неудаче. Я просил (это уж было не очень последовательно), чтобы он снова поставил меня на ноги, и давал торжественное обещание поправить свои финансы на железнодорожных делах. В заключение же (уж совсем непоследовательно) я уверял его, что вообще не способен к делам и умолял его взять меня из этого гнусного места и отпустить меня в Париж изучать искусство. Он отвечал мне кратким и печальным письмом, в котором говорил только, что вакационное время не за горами, и что тогда мы обо всем поговорим толком.

Когда пришло это время, я встретился с ним на вокзале; тут мне сразу кинулось в глаза, что он постарел. Казалось, его единственным желанием было утешить и ободрить меня. Я не должен был падать духом; многие из лучших людей терпели неудачи вначале. Я отвечал ему, что моя голова не создана для дел, и его доброе лицо омрачилось.

– Не надо бы так говорить, Лоудон, – возразил он. – Я никогда не поверю, что мой сын трус.

– Но я этого не люблю, – жаловался я. – Эти все дела не имеют для меня ни малейшего интереса, искусство же мне нравится. Я знаю, что в искусстве я пойду гораздо дальше.

И я напомнил ему о том, что хорошие художники зарабатывают много денег, что, например, картины Месонье продаются за громадные суммы.

– Не думаешь ли ты, Лоудон, – возразил он, – что человек, который может написать картину в тысячу долларов, не найдет в себе отваги на то, чтобы бросить картины и вступить на рынок? Нет, сэр, этот самый Месонье, о котором ты говоришь, или наш собственный американский Бирштадт, если б их двинуть хоть завтра же в предприятие с пшеницей, они, наверное, выказали бы энергию. Милый ты мой, видит Бог, я стараюсь только ради твоей же пользы и предлагаю тебе такую сделку. Я вновь снабжу тебя капиталом в десять тысяч долларов; покажи, что ты человек способный, удвой эту сумму и затем, коли уж это тебе так хочется, поезжай в Париж; я отпущу тебя. Но отпустить тебя теперь, как бы побитого, – этого мне гордость не позволяет сделать.

У меня сердце сначала взыграло от такого предложения, но потом вслед затем и сжалось. Мне казалось, что легче написать картину как Месонье, чем выиграть десять тысяч долларов в эту мимическую биржевую игру. Мои размышления о том, как странно подобным путем испытывать талант человека к живописи, не способствовали выяснению положения. Однако я все же сделал попытку заговорить об этом.

Он глубоко вздохнул и сказал:

– Ты забываешь, друг мой, что я могу быть судьей только в одном случае, и отнюдь не могу быть им в другом. Может быть, ты так же гениален, как сам Бирштадт, но я от этого не стану умнее.

– Видите ли, – продолжал я, – ведь у меня всегда будет неудача. У других мальчиков есть кто-нибудь, помогающий им, посылающий им телеграммы, извещающий о ценах. У нас есть, например, некий Джим Кастелло; его отец посылает ему известия из Нью-Йорка, без которых он никогда ничего и не предпринимает. Ведь вы сами понимаете, что коли кто-нибудь выигрывает, так, разумеется, кто-нибудь другой должен же проигрывать.

– Так я буду извещать тебя! – вскричал мой отец с необычным одушевлением. – Я не знал, что это дозволено у вас в школе. Я буду тебе передавать по телеграфу условным шифром все нужные сведения, и таким манером у нас выйдет целый торговый дом под фирмой «Лоудоны – Додд и Сын», – продолжал он, похлопывая меня по плечу, – Додд и Сын, Додд и Сын, – повторял он с явным наслаждением.

Ну, коли сам отец брался быть моим руководителем и наставником, и коли коммерческое училище для меня становилось необходимым путем к Парижу, то я еще мог смело смотреть в глаза неведомому будущему. А старик мой был так доволен этой затеей с нашей ассоциацией, что весь так и воспрянул духом, так и сиял. Встретились мы с ним как немые, а теперь усаживались за стол с праздничными физиономиями.

А теперь мне надо вывести на сцену новое действующее лицо, которое не произнесло ни слова и не двинуло пальцем, и, однако, обусловило созидание всей моей последующей карьеры. Вы изъездили Соединенные Штаты вдоль и поперек, и по всей вероятности, вы видели его позлащенную главу, с желобками, поднимающуюся где-нибудь над деревьями, среди равнины, ибо это новое действующее лицо было не что иное, как Капитолий штата Мускегон, тогда только что спроектированный. Мой отец предался этому делу со смешанным чувством патриотизма и коммерческой ревности, которые были в нем искренни и неподдельны. Он участвовал во всех комитетах, подписал на это дело изрядную сумму и постарался заручиться участием во всяческих поставках и контрактах. Было представлено немало конкурсных планов, и ко времени моего возвращения из школы отец как раз был погружен в их рассмотрение. Мысль эта всецело овладела его умом, и в первый же вечер моего прибытия домой он пригласил меня на совещание. Предмет был такого свойства, что и я сам предался ему с ревностной охотой. Правда, архитектура была вещь мне незнакомая, но все же это было искусство, а я ко всякому искусству чувствовал естественное тяготение и готов был посвятить ему все свои усилия, что, по мнению какого-то знаменитого идиота, и служит якобы признаком гения. Я с головой погрузился в работы отца, ознакомился со всеми представленными планами, с их

достоинствами и недостатками, просматривал и изучал специальные сочинения, сам сделался знатоком архитектурных стилей, ознакомился с ценами на материалы и, словом, так вник в дело, что, когда приступили к окончательному избранию плана, то «сорванец» Додд пожинал лавры. Его доводы показались самыми основательными, его выбор был одобрен комитетом, и я имел удовольствие убедиться в том, что выбор этот был, в сущности, мой. В окончательной обработке плана, которая затем последовала, мое участие было самое широкое; я собственноручно разметил все отдельные помещения, и эти разметки имели удачу или заслугу быть принятыми. Энергия и способности, какие я при всем этом выказал, восхищали и удивляли моего отца, и я смело говорю, – хотя и должен бы быть скромнее на язык, – что только благодаря моим стараниям Мускегонский Капитолий не сделался бельмом на глазу у всего моего родного штата.

Я вернулся в школу в отличнейшем настроении, и мои первые коммерческие операции прошли с отменным успехом. Отец писал и телеграфировал мне постоянно: «Старайся сам все обдумать, практикуйся, упражняйся», – казалось, хотел он внушить мне. Все, дескать, что я делаю для тебя, сводится к тому, что я подаю тебе шашки, и ты уж сам веди игру на свою ответственность, и тогда все, что ты заработаешь, все это будет плодом твоей собственной сметливости и предусмотрительности. Он вел, однако же, дело так, что ясно давал мне указания, что именно я должен делать, и я так и делал. Не прошло и месяца, как я уже собрал семнадцать или восемнадцать тысяч долларов, конечно, нашими, школьными бумагами. И вот тут-то я и пал жертвой этой нашей системы. Как я уже объяснил, бумаги наши соответствовали одному проценту истинной денежной стоимости; их можно было свободно продавать, обменивать на настоящие деньги. Неудачные спекулянты у нас то и дело продавали за них одежду, книги, гитары и иные вещи, чтобы оплатить проигрыш, а их более удачливые товарищи, со своей стороны, часто испытывали искушение реализовать и издержать на свои увеселения часть своих прибылей. Мне понадобилось купить долларов на тридцать рисовальных принадлежностей, так как я часто ходил в лес рисовать этюды, и мое желание было легко исполнить. Я уже начал было смотреть на биржевую игру (с помощью отца) как на хорошее помещение денег в рост. И вот в один злополучный час я не вытерпел и «реализовал» три тысячи долларов в школьных бумагах и купил что мне требовалось.

Это было в среду утром. Я был на седьмом небе от счастья. А мой отец (не могу позволить себе сказать, что я) как раз в эту минуту задумал «straddle»⁷ с пшеницей между Чикаго и Нью-Йорком. Операция эта, как вы хорошо знаете, один из самых искушающих, но зато и самых ненадежных ходов на шахматной доске финансов. В четверг удача начала поворачиваться спиной к расчетам моего родителя, а в пятницу вечером я уже попал в список банкротов – во второй раз. Это был тяжкий удар; отец особенно тяжело почувствовал его. Трудно, человеку видеть неспособность своего единственного сына, а он видел это воочию. Но в нашей неудаче было нечто, что делало из нее чистую отраву. Он поставил меня вновь на ноги, он дал мне три тысячи долларов в наших бумагах, и выходило так, что я украл эти три тысячи, но только уже в виде наличных тридцати долларов. Конечно, это было чересчур крайнее толкование, но до некоторой степени оно было верно. В общем, отец был не против всей этой спекуляции, но ее подробности смущали его. И вот я снова начал влачить существование письмоводителя, и мечты о Париже у меня угасли. Отец не хотел ободрить меня никаким добрым словом, не хотел помочь мне никаким благим советом.

Без сомнения, все это время он раздумывал о своем сынке и о том, что с ним делать. Я думаю, что он был очень потрясен моей беспринципностью и изыскивал средства и способы убересть меня от соблазнов. Впрочем, архитектор Капитолия превосходно отзывался о моих

⁷ Буквальное значение слова «straddle» – езда верхом по-мужски, ходьба раскорячившись; в чем же состоит упоминаемая автором биржевая операция – не можем сказать (*прим. перев.*).

рисунках. И в то время, как отец колебался и не знал, что со мной делать, фортуна выступила в мою защиту и Мускегонский Капитолий перевернул мою судьбу.

– Лоудон, – с улыбкой сказал мне отец, когда мы с ним снова увиделись, – скажи, если бы ты отправился в Париж, сколько понадобилось бы тебе времени, чтобы сделаться опытным скульптором?

– Что вы хотите сказать, отец? – закричал я. – Что значит «опытным»?

– Я подразумеваю человека, ознакомившегося с высшими стилями, – отвечал он, – например, с нагим телом, и также подразумеваю патриотический и эмблематический, то есть условный, стили.

– Я думаю, что на это понадобится года три, – ответил я.

– И ты думаешь, что необходимо ехать в Париж? – спросил он. – У нас, в нашей родной стране, есть отличные скульпторы. Вот, например, хотя бы Проджерс – прекрасный скульптор, хотя не знаю, стал ли бы он давать уроки.

– Париж – единственное место для этого, – уверял я его.

– Да мне и самому кажется, что так будет лучше, – согласился он и, смакуя слова, продекламировал: – Молодой человек, уроженец этого штата, сын одного из видных граждан, обучавшийся под руководством опытейших мастеров Парижа!..

– Но, милый мой папаша, что все это значит? – прервал я его. – Мне никогда не грезилось быть скульптором.

– Видишь ли, в чем дело, – сказал он. – Я взял на себя поставку статуй для нашего нового Капитолия. Сначала я смотрел на это с чисто коммерческой стороны, а потом мне подумалось, что лучше бы устроить из этого фамильное дело. Это как раз и сходится с твоими мыслями; тут и деньги, и патриотическая заслуга. Так что если ты согласишься, то отправишься в Париж, а вернешься оттуда через три года и изукрасишь Капитолий своего штата. Это крупный шанс в твою пользу, Лоудон. Обещаю тебе, что около каждого доллара, который ты заработаешь, я положу другой. Но чем скорее ты отправишься и чем усерднее возьмешься за работу – тем лучше. Если же с полдюжины первых статуй не придутся по вкусу Мускегону, то дело будет плохо.

Глава II

Руссильонское вино

Моя мать происходила из шотландской семьи, и потому было сочтено приличным, чтобы по дороге в Париж я сделал визит моему дяде Адаму Лоудону, богачу-оптовику, оставившему торговлю и жившему в Эдинбурге. Это был очень чопорный и очень насмешливый человек. Кормил он меня превосходно, поместил у себя роскошно и, казалось, хотел таким образом поиздеваться надо мной, отчего у меня сверкали очки и подергивался рот. Главным источником этой худо скрываемой радости, как я догадываюсь, был просто-напросто тот факт, что я был американец.

– Да-а-а... – говорил он, насколько возможно растягивая слова, – так, значит, у вас, в вашей стране, то-то и то-то обстоит или делается вот так-то и так-то!..

А кучка моих двоюродных братьев при этом превесело хихикала. Беспрестанные повторения таких выходов, они, надо полагать, считали каким-то особенным способом развлечения, который можно бы назвать, пожалуй, американским. У меня, помню, являлось искушение начать им рассказывать о том, что мои американские друзья-приятели в летние месяцы ходят голые, и что методистская церковь в Мускегоне вся изукрашена скальпами. Впрочем, такими штуками их не очень-то удавалось пронять. Этому они не так изумлялись, как тому, что мой отец республиканец, или тому, что я, когда был в школе, то выговаривал слово colour через и⁸. Когда же я сообщил им о том (это была, однако же, сущая правда), что мой отец ежегодно расходовал значительную сумму на то, чтобы приучить меня к игре, то хихиканье и зубоскальство всей этой ужасной семейки, пожалуй, еще можно было и извинить.

Не стану отпираться, что иной раз мне ужасно хотелось хорошенько поколотить дядюшку Адама. Пожалуй, в конце концов это и случилось бы, не догадайся они вовремя устроить пикник, в котором я оказался львом. При этом случае я узнал (к великому моему изумлению и успокоению), что невежливое обращение со мной практиковалось лишь в своем тесном, семейном кругу, и что, в сущности, это была своего рода шутливая ласка. Чужим же меня представляли весьма почтительно. Я был «сын моего американского свояка, мужа моей бедной Джен, Джемса Додда, известного мускегонского миллионера», – рекомендация, явно рассчитанная на то, чтобы сердце мое наполнилось чувством фамильной гордости.

Пожилой помощник моего деда, забавное создание с явно выраженным пристрастием к виски, был ко мне прикомандирован в качестве моего проводника по городу. С этим безобидным, но полным аристократического достоинства компаньоном я ходил на Артуров Стул и на Кальтонов Холм, слушал концерты в садах Принц-стрит, осматривал драгоценности Короны и кровь Риччио и проникался любовью к большому замку на скале, бесчисленным шпилям церквей, стройным зданиям, широким улицам и узким кривым переулкам старого города, где предки мои жили и умерли еще в дни, предшествовавшие открытию Колумба.

Но превыше всех этих городских достопримечательностей интересовал меня мой дед, Александр Лоудон. В свое время старый джентльмен был простым каменщиком и быстро пошел в гору, скорее орудя врожденным лукавством, нежели блистая действительными заслугами. Во внешности, говоре и манерах у него сквозил явный отпечаток своего происхождения, которое поднимало желчь дяди Адама и было для него горче полыни. Ногти его, назло тщательному надзору, были в явном трауре; одежда висела на нем мешками и складками и походила на воскресную одежду мужика; стиль его речи был самый вольный и терзающий ухо. Даже в лучшем случае, когда можно было заставить его держать свой язык за зубами, одно его

⁸ Слово colour, цвет, выговаривается кёлёр, а с буквой и выговаривалось бы кьолёр (прим. перев.).

присутствие в углу комнаты, с этими его морщинами, облезлой головой, широкими руками и каким-то неприятно пошлым выражением лица, давало нам чувствовать наше происхождение. Тетушка моя умела его извинять, двоюродные братья умели его обуздывать, но все же нам некуда было деваться от грубого, физического факта присутствия этого камня, положенного «во главу угла» нашей фамилии.

На стороне американца, каким был я, оказалась значительная выгода. Я ни капли не стыдился своего дедушки, и старый джентльмен отметил эту разницу. Он хранил нежную память о моей матери, быть может, потому, что она в его глазах была полной противоположностью дяде Адаму, которого она ненавидела яростно; и мое ласковое обращение с ним он приписывал наследственной преемственности от моей матери. Во время наших прогулок, которые скоро стали ежедневными, он иной раз украдкой забегал в кабачок (предварительно внушив мне, чтобы я держал это в строгом секрете от Адама), и когда случалось там повстречаться с какими-нибудь друзьями-приятелями ветеранами, он с явной гордостью представлял меня честной компании, стараясь в то же время набросить тень на своих прочих потомков.

– Это сын моей Дженни, – говорил он, – он-то ничего, славный мальчик.

Вообще же целью наших экскурсий было вовсе не любование древностями или величественными видами, а посещение одного за другим разных глухих пригородов, где старый джентльмен мог предаваться воспоминаниям о том, что он когда-то тут орудовал в качестве подрядчика, а иногда и архитектора. Редко случалось мне видеть что-нибудь более шокирующее; казалось, кирпич покраснел в стенах, а крыши побледнели от стыда; но я, конечно, старался не дать заметить моих чувств престарелому строителю, который шел рядом со мной, и когда он мне показывал какое-нибудь новое безобразие, да еще с комментариями насчет того, что, мол, вот моя мысль, которую у меня потом перехватили и построили по ней целый квартал около Глазго, – я спешил вежливо похвалить и (что, кажется, особенно его восхищало) спросить о стоимости каждого украшения. Само собой разумеется, что Мускегонский Капитолий очень часто служил у нас предметом собеседования. Я на память рассказывал ему обо всех планах, он же, при помощи небольшой книжки, полной чертежей и таблиц, автором которой, сколько помнится, являлся Мольсуорс и которая была его вечным карманным спутником, сейчас же сообщал мне грубо-приблизительные расчеты и оценивал поставки и подряды. наших мускегонских строителей он называл не иначе, как стаей бакланов. Знакомство его с делом в сочетании с моим знанием архитектурных терминов и стилей, а главное, цен на материалы в Соединенных Штатах способствовали тому, что из нас вышла весьма дружная и хорошо подбранная пара, и дедушка часто с пылким одушевлением объявлял меня «настоящим умницей-парнишкой». Таким образом, как видите, Капитолий моего родного штата уже во второй раз благотворно влиял на мою жизнь.

Я покинул Эдинбург не без мысли о том, что мне удалось немало совершить в свою пользу. А главное, я радовался, что бежал наконец из этого несносного дома и скоро погружусь в мой радужный Париж. У каждого человека свой роман; мой состоял в том, чтобы предаться исключительно обучению искусствам, вести жизнь студентов Латинского квартала и вообще войти в мир Парижа, как он изображен маститым мудрецом, автором «*La Comédie Humaine*»⁹. И я не был разочарован, да и не мог быть, потому что мне не надо было видеть фактов, я их принес с собой готовыми. Марко жил рядом со мной в моем неудобном и вонючем отеле на улице Расина; я обедал в скверном ресторанчике вместе с Лусто и с Растиньяком. Если мне встречался на перекрестке фиакр, правил им Максим де Трай. Как я сказал, жил я в скверном отеле и обедал в скверном ресторане; но делал это совсем не по нужде, а из чувства. Отец щедро снабдил меня средствами, и я, кабы захотел, мог бы жить в районе площади Звезды и ежедневно ездить в экипаже на уроки. Но если бы я так поступил, все очарование исчезло

⁹ «Человеческая комедия». Автор ее Бальзак (прим. перев.).

бы, и я остался бы просто Лоудоном Доддом; а теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже¹⁰, который во плоти и крови переживал один из тех романов, которые я так любил читать и перечитывать, и мечтал над ними в лесах Мускегона.

В те времена все мы, обитатели Латинского квартала, были выкроены по Мюрже. В Одеоне тогда была поставлена «Жизнь Богемы» (очень унылая, плаксивая пьеса), державшаяся на сцене непостижимо долгое (для Парижа) время и оживившая свежесть легенды. Так как на любом чердаке по соседству творились совершенно такие же дела, то добрая треть парижского студенчества весьма добросовестно олицетворяла героев Мюрже, Родольфа или Шонара, к их великому собственному удовольствию. Некоторые из нас делали то же самое, а иные шли и еще дальше. Я, например, всегда с завистью смотрел на одного своего земляка, у которого была своя студия на улице Мосье-ле-Пренс, который носил сапоги и длинные волосы в сетке, и в таком виде заявлялся в сквернейшую столовую квартала в сопровождении своей натурщицы и любовницы – корсиканки в живописном национальном костюме. Надо обладать известным величием души, чтобы вознестись безумно на такую высоту. Я со своей стороны довольствовался тем, что воображал себя бедняком, потому что ходил по улицам в каком-то колпаке и преследовал с вечными неприятными приключениями исчезнувшее млекопитающее, носившее когда-то имя гризетки. Самая мучительная вещь была пища и питье. Я был рожден на свет с лакомым языком и с небом, приспособленным к вину, и только фанатическая приверженность к тексту романов могла заставить меня глотать рагу из кролика и красные чернила, называвшиеся Берси. И ведь каждый раз, изо дня в день, когда я кончал работу в студии, где я занимался чрезвычайно усердно и далеко небезуспешно, меня словно окатывало волной отращения. Мне приходилось украдкой ускользать от своих приятелей и обычных компаньонов и вознаграждать себя за недели самоистязания тонкими винами и вкусными блюдами, сидя где-нибудь на террасе или среди зелени в саду с раскрытой книжкой одного из моих любимых авторов, в которую я по временам заглядывал. Так я наслаждался до тех пор, пока не наступала ночь и не зажигались огни в городе, а потом брел домой по набережной при свете месяца или звезд, предаваясь мечтаниям и перевариванию вкусного обеда.

Такая слабость духа вовлекла меня на второй год моего пребывания в Париже в некоторое приключение, о котором я должен поведать. Я отношусь пристрастно к этому случаю, потому что он послужил поводом моего знакомства с Джимом Пинкертоном. В один октябрьский день, когда пожелтелые листья валяются на бульвары и настроение впечатлительных людей клонится в одинаковой степени к грусти и к исканию общества, я сидел один за обедом в ресторане. Ресторанчик был неважный, но в нем был хороший погреб и имелся длинный список разных вин. Я тут наслаждался вдвойне, и как любитель вин, и как любитель громких названий; просматривая карту, я уже в самом конце ее натолкнулся на название, не особенно прославленное и знаменитое, – Руссильон. Я вспомнил, что никогда еще не пробовал такого вина, приказал подать бутылку, нашел вино великолепным, и когда прикончил бутылку, крикнул гарсона и, по моему обычаю, хотел спросить еще полбутылки. Но руссильонского в полбутылках не оказалось.

– Ну, так давайте бутылку, – сказал я.

В этом заведении столики были сдвинуты вплотную. Последнее, что от этого обеда осталось у меня в памяти, это то, что я вел весьма громкий разговор с моими соседями. Затем я постепенно раздвигал круг моего внимания, ибо ясно помню, что стулья вокруг меня начали поворачиваться, и лица с усмешками уставились на меня. Что такое я говорил, этого я не помню, но и теперь, через двадцать лет после того, я все еще испытываю угрызения совести; скажу вам только вкратце, что моя муза в эту минуту была настроена патриотически. Помню, что мне непременно захотелось пойти пить кофе в обществе моих новых друзей; но едва сту-

¹⁰ Известный автор «Цыганской жизни» (прим. перев.).

пив на тротуар, я нашел себя в полном одиночестве. В то время это обстоятельство удивило меня еще меньше, чем удивляет теперь; но все же я был слегка опечален, продолжая, однако, шествовать в кофейню. Я удивлялся, почему я так опьянел после моей второй бутылки, и решил подправить себя кофе и водкой. В кафе «Суре», когда я туда пришел, фонтан был пущен в ход, и, что меня ужасно удивило, мельница и разные механические фигурки на скалах казались все заново отделанными и выделяли презабавные штуки. В кофейне было жарко, и она была ярко освещена, так что все в ней было ужасно отчетливо видно: и лица гостей, и даже буквы на газетах, которые лежали на столиках, – и все помещение как-то плавно и приятно покачивалось, словно висячая койка. В первые минуты все это донельзя очаровало меня, и мне казалось, что я никогда не устану смотреть на это; потом я внезапно впал в беспричинную грусть; а затем, с той же внезапностью и скоростью, я наконец догадался, что я просто-напросто пьян, и что мне всего лучше улечься спать.

До моего дома было отсюда несколько шагов. Я взял от швейцара зажженную свечу и начал шагать по лестнице к себе на четвертый этаж. Хотя я не могу отпираться, что был пьянехонек, но в то же время помню, что думал и рассуждал здраво. Главное, что меня заботило, это чтобы хорошенько выспаться и не опоздать утром на работу, и когда увидел, что часы у меня на камине остановились, я решил вновь спуститься вниз и сказать швейцару, чтобы он меня разбудил. Оставив свечу у моей открытой двери, чтобы потом не заблудиться, я пошел вниз. Весь дом был погружен во тьму; но на каждой площадке было только по три двери, так что запутаться было невозможно, и мне оставалось только спуститься по лестнице, пока не увижу огонька в каморке швейцара. И вот, отсчитал я четыре этажа, а швейцара не видать. Ну, что же, возможно, что я неверно сосчитал; иду себе дальше и дальше, спускаюсь этаж за этажом, наконец, по моему счету, спускаюсь до какого-то невозможного девятого. Мне становится ясным, что я как-нибудь проглядел каморку швейцара. Да и в самом деле, я теперь видел пять пар звездочек где-то ниже улицы, так что, значит, я очутился уже под землей. Видимое ли дело: наш дом был выстроен над парижскими катакомбами, и это открытие возбудило во мне живейший интерес; не будь я так крепко одержим заботой о своей работе, я наверное занялся бы исследованием этого подземного царства. Но я помнил, что мне надо быть в мастерской утром, в известный час, и что я во что бы то ни стало должен найти швейцара. Я повернул назад и поднялся снова до уровня улицы. Я взобрался на пятый, шестой, седьмой этаж, – швейцара все нет как нет. Это меня наконец истомило; я сообразил, что теперь я недалеко от своей комнаты, и решил бросить поиски и лечь спать. Я взбирался все выше. Вот восьмой, вот девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый этаж, и... моя открытая дверь оказалась для меня столь же потерянной, как и каморка швейцара, как его оплывшая свеча. Я вспомнил, что наш дом был всего-навсего шестизэтажный, так что по самому умеренному расчету я поднялся теперь на три этажа над крышей. Свойственный мне врожденный юмор внезапно уступил место несвойственному моей натуре раздражению.

– Моя комната должна быть тут, вот тут! – решил я и пошел прямо к двери, протягивая руки.

Но передо мной не было ни двери, ни стены; передо мной простирался темный коридор, по которому я некоторое время подвигался вперед, не встречая ни малейшего препятствия. И это в доме, где длиннейшая дистанция включала в себя три небольшие комнаты, узкую площадку лестницы и самую лестницу! Чистая нелепость! Вы не удивитесь, узнав, что я теперь уже начал выходить из себя. В ту же минуту я заметил полоску света на полу; протягивая руку, я нащупал дверную ручку и без дальнейших церемоний вошел в комнату. В ней была молодая женщина; она собиралась лечь в постель, и ее туалет уже далеко подвинулся вперед... или назад, если вам так больше нравится.

– Надеюсь, что вы извините мое вторжение, – сказал я, – но моя комната – № 12, и... черт его знает, что такое случилось с этим домом!..

Она с минуту посмотрела на меня и потом сказала:

– Подождите минуту около дверей, я проведу вас.

Затем все дело уладилось при обоюдной с обеих сторон готовности. Я подождал около ее двери. Потом она вышла в платье, взяла меня за руку, провела на другой этаж, четвертый над крышей (по моему счету), и втокнула меня в мою комнату, где я, совершенно истомленный моими необычайными странствованиями, живо уснул сном невинного младенца.

Я рассказывал вам все это спокойно, так, как оно мне представляется и вспоминается. Но на другой день, когда я проснулся и стал рыться в своей памяти, я не мог скрыть от себя, что вся эта история полна невероятных вещей. Я и не подумал идти в мастерскую, а направился в Люксембургский сад, чтобы несколько освежить голову среди воробьев, статуй и падающих листьев. Я всегда очень любил этот сад. В нем сидишь словно в общественном месте истории и романов. Вот из этих окон смотрели Барра и Фушэ; Лусто и Банвилль (оба кажущиеся реальными) сочиняли стихи на этих скамейках. Из города доносится оживленный шум уличного движения, а вокруг и вверху шумят деревья, дети и воробьи наполняют воздух криками и статуи смотрят на все это своими вечными взглядами. Я уселся на скамью, стоявшую против входной галереи, раздумывая над событиями минувшей ночи, стараясь, насколько возможно, отделить возможное от невозможного.

Теперь, при дневном свете, дом оказался в шесть этажей, как и всегда был. И я, со всем моим архитектурским опытом, не мог найти комнату по всему протяжению его высоты и его бесконечных лестниц, не мог нащупать стен в этом коридоре, по которому слонялся ночью! Но было еще более значительное затруднение. Я где-то вычитал афоризм, гласящий, что все может оказаться фальшивым и обманчивым, кроме человеческой природы. Дом может удлиниться или расшириться, или показаться таковым джентльмену, который плотно покушал и обильно выпил. Океан может высохнуть, скалы расплавиться от солнца, звезды валиться с неба, как яблоки осенью; во всем этом нет ничего такого, что могло бы смутить философа. Но случай с молодой дамой стоял особняком. Девицы могут быть либо недостаточно добры, или вовсе не добры, или слишком добры, как в подобном случае. Я готов был принять любую из этих мер; все они клонились к одному и тому же заключению, которое я уже склонен был сделать, когда внезапно ко мне пришел на помощь свежий аргумент, который сразу решил вопрос. Я смог припомнить в точности слова, которые произнес каждый из нас; и я говорил, и она ответила мне по-английски. Положим, все это могло быть грезой и сном: и катакомбы, и лестницы, и милосердная дама.

Я только что пришел к такому заключению, как вдруг по саду пронесся порыв ветра; повалились мертвые листья с деревьев, и целая стая воробьев, похожая на снежную тучу, взвилась над моей головой с дружным чириканьем. Эта приятная суматоха была делом одной минуты, но она оторвала меня от отвлеченностей, в которые я впал, словно меня кто окликнул. Я быстро выпрямился, и в это время мои глаза остановились на фигуре женщины в коричневом пальто, несшей ящик с рисовальными принадлежностями. Рядом с ней шел молодой человек на несколько лет старше меня, неся под мышкой мольберт. По направлению хода и по их ношам я заключил, что они идут в галерею Люксембургского дворца, где дама, по всей вероятности, копировала какую-нибудь картину. Можете судить о моем сюрпризе, когда я распознал в ней героиню моего приключения! Словно ради устранения всяких сомнений глаза наши встретились, и она, казалось, со своей стороны все припомнив, а в том числе и то состояние, в каком я перед ней предстал, быстро опустила глаза с явным смущением.

Теперь я не сумею вам сказать, была ли она хороша или нет, но она держала себя так хорошо, и я представлял рядом с ней такую жалкую фигуру, что я воспламенился желанием выказать себя в наивозможно благоприятном свете. Возможно было предположить, что молодой человек, шедший с ней, был ее брат. Братья же часто спешат стать взрослыми мужчинами

в сравнительно юном возрасте; мне подумалось, что будет очень благоразумно предупредить возможные осложнения, прибегнув к извинению.

Остановившись на таком решении, я поспешил к дверям галереи и стал в позицию прежде, чем молодой человек успел дойти до нее. Так очутился я лицом к лицу с третьим вершителем моей судьбы, ибо вся моя карьера была всецело основана на трех элементах: моем отце, Мускегонском Капитолии и моем друге Джиме Пинкертоне. Что же касается молодой леди, которой мои мысли были исключительно заняты в ту минуту, я никогда ничего не слышал о ней с тех пор, – превосходнейший пример той игры в жмурки, которую мы называем жизнью.

Глава III

Знакомство с мистером Пинкертоном

Как я уже сказал, незнакомец был несколько постарше меня. Это был человек крепкого сложения, с оживленным лицом, сердечными, живыми манерами и острыми птичьими глазами.

– Могу я поговорить с вами? – сказал я.

– Дорогой сэръ, – ответил он, – я не знаю, о чем вы хотите говорить со мной, но сделайте милость, говорите сколько вам угодно.

– Вы сейчас были рядом с молодой дамой, – продолжал я, – с которой я вел себя, хотя и ненамеренно, так, что она могла счесть это за обиду. Обратиться прямо к ней – это значило бы вновь поставить ее в затруднение, и я поэтому пользуюсь случаем оправдаться перед лицом моего пола, которое состоит с ней в дружеских отношениях, и даже может быть, – добавил я, – является ее единственным защитником.

– Вы мой земляк, это я знаю! – воскликнул он. – Об этом я заключаю по вашему деликатному отношению к даме. Но вы только отдаете ей должное. Я был ей представлен недавно вечером, за чаем, в доме моих друзей, и вот встретил ее сегодня утром и помог ей донести сюда ее мольберт. Скажите мне ваше имя, друг мой.

Мне было не совсем приятно, что он так мало близок к молодой даме. Я сам искал знакомства, а теперь чувствовал искушение повернуть назад. Однако в то же время меня что-то привлекало во взгляде незнакомца.

– Мое имя Лоудон Додд, – сказал я. – Я из Мускегона и обучаюсь здесь скульптуре.

– О, скульптуре? – воскликнул он, словно он меньше всего мог этого ожидать. – А меня зовут Джеймс Пинкертон. Очень рад познакомиться с вами.

– Пинкертон! – в свою очередь воскликнул я. – Вы Пинкертон Изломанный Стул?!

Он принял эту кличку с веселым смехом мальчугана, да и в самом деле, любой мальчик в Латинском квартале гордился бы, нося кличку, так доблестно приобретенную.

Для того, чтобы объяснить ее происхождение, мне придется коснуться истории нравов девятнадцатого столетия, заслуживающих внимания. В те времена во многих студиях шутки и каверзы, устраиваемые новичкам, отличались и варварством, и крайним неприличием. Вот два примера, следовавших один за другим, и которые, как это часто случается, являлись какими-то странными потугами двигать вперед цивилизацию, прибегая к чисто варварским средствам. Первый случай вышел с одним молодым армянином. У него на голове была феска, а в кармане (обстоятельство, никем не учтенное) – кинжал. Каверзы начались и шли обычным ходом, и, должно быть, благодаря головному убору жертвы, приняли гораздо более бойкий размах, чем обыкновенно. Тот принял сначала эти приставания с терпением, располагавшим к дальнейшей атаке. Но когда один из учеников чересчур уж разошелся, вдруг сверкнул кинжал и погрузился во чрево шутника. Я должен с удовольствием упомянуть о том, что этот джентльмен несколько месяцев пролежал в постели, прежде чем мог продолжать учение.

А другой случай как раз и был тот, при котором Пинкертон завоевал свою кличку. Дело происходило в одной очень многолюдной студии. В то время, как над одним трепетавшим новичком совершались разные грязные штуки, какой-то крупный детина вскочил с места и без всякого предисловия, вступления и объяснения заорал:

– Все англичане и американцы – вон отсюда!

Наша раса груба, но не развращенна. На воззвание последовала благородная отповедь. Каждый англосакс схватил свой стул, и мастерская в одну минуту наполнилась окровавленными головами. Французы в беспорядке ударились в бегство, к удивлению их освобожденных жертв. В этой баталии обе нации, говорящие по-английски, покрыли себя неувядаемой славой;

мой же новый знакомец, Пинкертон, как передавала потом молва, явил собой выдающегося ратоборца в этой стычке. Он одним взмахом разломал свой стул и самым обстоятельным образом «выставил» из мастерской своего очень дюжего противника, который при этом мимоходом прошиб холст, натянутый на подрамник, да так на улицу и вылетел, оправленный в раму.

Легко себе представить, какие толки поднялись в Латинском квартале по поводу этого случая. Я был чрезвычайно доволен, что заручился знакомством с моим знаменитым соотечественником. В это же утро я успел убедиться в донкихотской стороне его характера. Мы шли и болтали и подошли к мастерской одного молодого француза, работу которого я обещал посмотреть; согласно обычаям квартала, я захватил с собой и Пинкертона. Многие из моих товарищей того времени были пренеприятные парни. Я всегда ценил и почитал уже сделавших успехи учеников по художественной части, обучавшихся в Париже; но среди начинающих было много ужасно неприятных юношей, и я часто удивлялся, откуда являются художники, и куда деваются эти ученики. Подобная же тайна тяготеет над медицинской профессией и заставляет глубоко задуматься наблюдателя. Тот увалень, к которому я вел Пинкертона, был одним из самых грязных пачкунов во всем квартале. Для нашего услаждения он выставил чудовищную корку¹¹, как у нас принято выражаться, изображавшую св. Стефана, валяющегося на брюхе в чем-то красном, и толпу евреев около него, синих, зеленых, желтых, которые дубасят его, по-видимому, какими-то прутьями или пучками. А пока мы рассматривали эту мазню, он угощал нас автобиографическими сведениями, причем пытался себя выставить чуть не героем. Я был одним из тех американских космополитов, которые принимают мир Божий, все равно у себя или на чужбине, как его находят; причем любимой их ролью служит роль простого наблюдателя. Так и тут, я стоял и смотрел с дурно скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня крепко дергают за рукав.

– Что он такое рассказывал о том, что кого-то спустил с лестницы? – спросил меня Пинкертон, белый, как св. Стефан.

– Ну, да, – ответил я, – это он рассказывал о своей отвергнутой любовнице и дальше говорил о том, что швырял в нее камнями. Я думаю, что не это ли подало ему мысль насчет сюжета его картины. Он говорил, в виде оправдания, о том, что она была так стара, что годилась ему в матери.

У Пинкертона вырвалось что-то вроде рыдания или всхлипывания.

– Скажите ему, – с трудом выговорил он, – я сам худо говорю по-французски, хотя и понимаю; я ведь худо воспитан... скажите ему, что я размозжу ему башку!..

– Ради Бога, не делайте ничего подобного! – взмолился я. – Они ведь все равно ничего не понимают в этих вещах!

И я попытался увести его.

– Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем, – возражал он, – пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца.

– Предоставьте это мне, – сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь.

– *Qu'est-ce qu'il a?*¹² – спросил студент.

– *Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regardé votre croûte*¹³ – ответил я и поспешил убежать вслед за Пинкертоном.

– Что вы ему сказали? – спросил тот.

– Единственное, что он еще может понять, и чем его можно пронять, – был, мой ответ.

После этой сцены, после вольности, с какой я вытолкал моего нового знакомого, и поспешности, с какой выскочил вслед за ним, оставалось только пригласить его позавтракать.

¹¹ Crust, по-английски, la croûte, по-французски, значит корка – уничижительная кличка дурно намалеванной картины.

¹² Что с ним?

¹³ Этот господин почувствовал резь в животе от того, что слишком засмотрелся на вашу мазню.

Я уже и забыл, куда я его повел; это было где-то около Люксембургского сада. Там мы уселись друг против друга за столиком и начали копаться в жизни и характере друг друга, как это обычно водится среди юношей.

Родители Пинкертон были уроженцы Ольд-Кентри. Как я догадываюсь, и он сам родился там же, хотя он, кажется, забыл об этом. Я никогда не мог допытаться, сам ли он убежал из дому, или отец бросил его; знаю только, что с двенадцати лет он начал существовать самостоятельно. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его где-то на дороге в Нью-Джерси, подобрал так, как срывают ягоды боярышника с живой изгороди; ему понравился этот мальчуган, и он всюду таскал его за собой в своей бродячей жизни. Он научил его всему, что сам знал, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в священном писании. Он помер потом где-то на дороге в Огайо. «Это был любопытный человек, – воскликнул Пинкертон, – и я хотел бы, чтобы вы видели его, мистер Додд. У него было в наружности что-то такое, что заставляло меня вспоминать о патриархах».

По смерти этого случайного покровителя мальчуган унаследовал его фотографию и продолжал сам заниматься этим делом. «Это была жизнь, которую я охотно избрал, мистер Додд! – воскликнул он. – Я посетил все интересные места, видел всю жизнь этого великолепного континента, который мы с вами рождены унаследовать. Хотел бы я, чтобы вы взглянули на мою коллекцию снимков; жаль, что ее нет сейчас со мной. Я нарочно делал эти снимки для себя, на память; на них природа схвачена в самые ее величественные и полные красоты моменты!»

Во время странствований по западным штатам и территориям, делая снимки, мальчик постоянно запасался книгами, без разбора: худыми, хорошими, безликими, распространенными, неизвестными, начиная с повестей Сильвануса Кобба, вплоть до элементов Эвклида; к моему удивлению, обе эти книги он читал с одинаковым усердием. Он по дороге вдумчиво изучал народ, изделия ремесел и самую страну, обнаруживая замечательный дар наблюдательности и удивительную память. Он собрал ради собственного удовольствия и поучения кучу разного вздора, который, по его убеждению, так сказать, резюмирует собой природного американца. Быть благомыслящим, быть патриотом, загребать обеими руками сведения и деньги, то и другое с одинаковым рвением, – вот, казалось, в чем состоял его символ веры. Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ: «Для того, чтобы создать тип! – восклицал он. – Все мы обязаны участвовать в этом; все мы должны стараться над созданием типа американца! Лоудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?»

Однако, ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена, – так объяснял он свои деловые соображения, – притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах, я знаю только, что сущность его, как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы.

– Я вложил в это дело всю мою душу. Я отказывался от еды и от сна, когда я погружался в него. Опытные люди утверждали, что я обдумал и наладил это дело в течение месяца и практиковал его в течение года, – говорил он. – А преинтересная штука, как-никак. Ведь в самом деле забавно подхватить кого-нибудь, идущего мимо, приспособить ваш ум к его характеру и вкусам, отвлечь его от кассы и на лету всучить ему билет туда, куда ему надо. Едва ли какой-нибудь скальпировщик на континенте делал меньше промахов. Но для меня это было только временным делом. Я берег каждый доллар: я смотрел вперед. Я знал, чего я хочу, – богатства, образования, уютного и комфортного дома, образованной женщины в жены, потому что, мистер Додд, – это он уже выкрикивал изо всех сил, – каждый человек должен жениться на женщине выше себя духовно; если жена не берет верх над мужем, то я называю такой брак чувственным. Такова моя мысль. Ради этого я и был бережлив. Ну, и довольно об этом! Но далеко

не каждый человек, о, далеко не каждый, может сделать то, что я сделал: закрыть деятельнейшее агентство в Сент-Джо, где можно было добывать доллары целыми котлами, уединиться, и без единого друга, без знания единого французского слова поселиться здесь и расходовать свой капитал на изучение искусства!

– У вас всегда была страсть к искусству, – спросил я его, – или она внезапно овладела вами?

– Ни то, ни другое, мистер Додд, – ответил он. – Правда, во время моих фотографических странствований я научился ценить и возвеличивать творения Божьи. Но это все-таки не то. Дело в том, что я спросил себя: что может быть желаннее всего в моем возрасте и моей стране? Очевидно, больше образования, больше искусства, ответил я себе. Я и выбрал лучшее из двух, захватил все деньги и явился сюда, чтобы овладеть тем, что избрал.

Все существо этого молодого человека и возбуждало, и принижало меня. У него было больше огня в мизинце, чем у меня во всем теле. Он весь пылал мужественными добродетелями, и хотя его художественное призвание ни в чем явно не выказывалось, в глазах такого проникнутого призванием человека, как я, кто мог предугадать, что выработается из этого создания, одаренного такой кипучей кровью, такой телесной и духовной энергией? Когда он предложил мне побывать у него и взглянуть на его работы (это уж общий обычай дружбы в Латинском квартале), я отправился с ним охотно и с любопытством.

Он жил очень экономно на самом верху большого дома неподалеку от обсерватории. Он снимал комнату, которая вся была наполнена его собственными ящиками и чемоданами и вместо обоев покрыта его собственными, никуда не годными этюдами. Кажется, нет человека, который бы имел менее вкуса к неприятным обязанностям, чем я, и быть может, единственное, чего я не могу совершить, – это льстить человеку не краснея. Во всем же, что касается искусства, у меня чисто римская прямота и искренность. Я два раза молча оглядел эти стены, отыскивая в каком-нибудь потаенном уголке хоть что-нибудь стоящее внимания. А он тем временем ходил за мной по пятам, читая свой приговор на моем лице, иногда показывая мне какой-нибудь свежий этюд с неестественной боязнью и после того, когда он был безмолвно взвешен на весах критики и найден плохим, убирал его с явным движением безнадежности. Но вот окончился и вторичный обход, и оба мы были совершенно подавлены.

– О, – пробормотал он после долгого молчания, – вам нет надобности и говорить!..

– Хотите, я буду вполне откровенен с вами? Я думаю, что вы напрасно тратите время, – сказал я.

– Неужели вы не видите во всем этом ничего сулящего удачу? – спросил он, все еще не теряя надежды и вперив в меня свои сверкающие глаза. – Вот, взгляните хоть на эту дыню. Один приятель находил ее недурной.

Мне оставалось только еще раз внимательно разглядеть эту дыню; но, всмотревшись в нее, я мог только покачать головой.

– Мне очень грустно, но я не могу поощрять вас к дальнейшим стараниям, Пинкертон, – сказал я.

Он, казалось, успел вполне овладеть собой и воспрянуть из бездны разочарования, так сказать, подскочить, словно резиновый мячик.

– Ну, что ж! – проговорил он решительным тоном. – Конечно, это для меня сюрприз. Но я буду продолжать, что начал, и вложу в это дело всю мою душу. Не думайте, что время потеряно даром. Ведь это все-таки образование; это поможет мне расширить круг знакомств, когда вернусь домой; это поможет мне приспособиться к какому-нибудь иллюстрированному журналу; а потом я всегда могу сделаться купцом, – говорил он, с удивительной простотой делая это предположение, которое произвело бы на Латинский квартал потрясающее впечатление. – Впрочем, это ведь просто-напросто опыт, попытка, – продолжал он, – а здесь, как мне кажется, проявляется склонность унижить опыт и со стороны выгоды, и со стороны помещения

капитала. А между тем все это сделано мной не без выгоды. Во всяком случае, вам надо было обладать мужеством, чтобы сказать то, что вы сказали, и я никогда этого не забуду. Вот вам моя рука, мистер Додд. Я не ровня вам по образованию и таланту.

– Почему же вы знаете? – прервал я его. – Я видел вашу работу, но вы моей не видели.

– Да, не видел, – воскликнул он, – и потому отправимся сейчас же взглянуть на нее. Только я знаю, что ваша работа лучше, чувствую это заранее.

По правде сказать, мне было почти стыдно вводить его в свою студию, потому что моя работа, уж какая бы там она ни была, худая ли, хорошая ли, была неизмеримо лучше, чем его. Но теперь он совершенно оправился, и он даже удивил меня дорогой своими легкомысленными разговорами и новыми затеями. Я уже начинал понимать, что тут у нас, в сущности, произошло; не артист в нем был задет и обижен в своей страсти к искусству, а только деловой человек, с широкими замыслами и интересами, вдруг убедившийся, да еще притом с такой неожиданностью, что одно из двадцати помещений его капитала было неудачно.

Впрочем, хотя я никак этого не подозревал, он уже начал искать себе утешение в другом и ласкал себя мыслью об отплате мне за мою искренность, о скреплении нашей дружбы, и – одно к одному – о подъеме моей оценки его талантов. Я тем временем говорил ему что-то о себе; он вынул записную книжку и кое-что в ней записал. Когда мы вошли в студию, я снова увидел книжку в его руках и увидел, как он поднес ко рту карандаш, после того как бросил выразительный взгляд вокруг на мою некомфортабельную обстановку.

– Что это вы, хотите сделать набросок моей мастерской? – не удержался я от вопроса, снимая покрывало с моего Мускегонского Гения.

– О, это мой секрет, – сказал он. – Вам ни за что не догадаться. Мышь может пособить льву.

Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему ее. Я представил Мускегон в виде очень юной матери, несколько напоминающей индианку; на коленях у нее сидел младенец с крыльями, – эмблема нашего будущего воспарения; постамент ее был покрыт смесью скульптурных орнаментов в греческом, римском и готическом стилях, чтобы напомнить нам о тех древних мирах, откуда мы сами произошли.

– И что же, это удовлетворяет вас, мистер Додд? – спросил он, когда я объяснил ему все подробности моего произведения.

– Да, – сказал я, – приятели, как кажется, находят эту вещь недурной *bonne femme*¹⁴ для начинающего. Да я и сам думаю, что это не так уж плохо. Вот, взгляните отсюда, с этого места. Нет, как хотите, в этом уже есть что-то похожее на дело, – допустил я, – но я намерен сделать нечто лучше.

– Вот это настоящее слово! – вскричал Пинкертон. – Это слово я люблю! – И он снова что-то записал в свою книжку.

– Что вам в этом творении не нравится? – спросил я.

– Час от часу не легче! – рассмеялся Пинкертон. – Что же тут может не нравиться? Это прекрасная вещь!

И он опять принялся записывать.

– Ну, коли вы намерены говорить такие вещи, то я уберу с глаз долой предмет нашего собеседования. – И я начал закрывать холстом своего Гения.

– Нет, нет, – сказал он, – не спешите. Лучше поучите меня. Укажите мне, что тут у вас вышло особенно хорошо.

– Смотрите сами, что вам кажется лучше, – сказал я.

– Горе-то мое в том, что я никогда не был особенно внимателен к скульптуре, – сказал он, – я только любовался ею, как, впрочем, и всякий, у кого есть душа. Будьте же добрым

¹⁴ Добрая женщина – выражение, соответствующее нашему: тетка, тетенька, бабенка.

малым, объясните мне, что вам тут всего более нравится, что вы хотели этим представить и в чем тут заслуга. Ведь это для меня будет полезным уроком.

– Ну, хорошо. Вот видите ли, в скульптуре первое дело – масса. Ведь скульптура – род архитектуры, – начал я и прочел ему лекцию об этой отрасли искусства, иллюстрируя ее указаниями на мое собственное произведение, лекцию, которую я не привожу, хотите вы этого или не хотите.

Пинкертон слушал с большим интересом, переспрашивал меня с несколько грубой бесцеремонностью и все продолжал строчить свои заметки и занимал ими чистые странички в своей записной книжке. Мне нравилось, что мои слова записываются, словно лекция профессора. Я был очень неопытен во всем, что касается печати, я не знал, что все это будет напечатано. По той же причине (странная черта в американце!) я никак не предполагал, что эти его записки предназначаются для того, чтобы из них вышли строчки газетной статьи по пенни за штуку, не думая, что я сам, моя персона и мои работы в области искусства предназначались «на убой», в интересах читателей воскресной газеты. Между тем, прежде чем я окончил излияния своего теоретического красноречия, на Мускегонского Гения успела уже спуститься ночь, и я расстался с моим новым другом не без того, чтобы уговориться повстречаться на следующий день.

Я был очень взволнован этой моей первой встречей с земляком, и чем дальше подвигалось наше знакомство, тем более я им заинтересовывался и развлекался, и привязывался к нему. Не могу сказать, чтобы в нем не было никаких недостатков, и не только потому, что уста мои сковывало чувство признательности, но потому, что те недостатки, которые в нем обнаруживались, происходили больше от его воспитания, и можно было видеть, что он их замечал сам и исправлял. Однако все-таки, он был для меня довольно беспокойным другом, и, главное, эти беспокойства от его дружбы начались в самое ближайшее время.

Прошло, кажется, не больше двух недель, как я уже разгадал секрет его записной книжки. Скоро мне стало известно, что мой хват пишет корреспонденции в одну из газет дальнего Запада, и что одна из этих корреспонденций была посвящена мне. Я сказал ему, что он не имел права так поступать, не спросив моего позволения.

– Я был уверен, что вы согласитесь! – воскликнул он. – Но вы могли из скромности, для виду, начать отнекиваться.

– Но, друг мой, – возражал я ему, – вы бы хоть предупредили меня.

– Я знаю, что так полагается по этикету, – согласился он, – но когда дело происходит между друзьями, и когда при этом имелось в виду только оказать вам услугу, я полагал, что можно обойтись и без лишних церемоний. Мне хотелось сделать вам сюрприз. Мне хотелось, чтобы вы, как лорд Байрон, проснулись и нашли около себя газету, где написано о вас. Вы сами согласитесь, что такая мысль не имеет в себе ничего ненатурального. Кому же охота заранее хвастаться тем, что он услужит своему приятелю?

– Но, Господи Боже мой, почему вы знали, что я сочту это услугой?! – вскричал я.

Тогда он мгновенно впал в отчаяние.

– Я вижу, вы сочли это за излишнюю вольность, – сказал он. – Но я готов дать руку на отсечение, что действовал из лучших побуждений. Я бы все это уничтожил, кабы не было поздно; но теперь статья уже напечатана. А я-то еще с таким удовольствием, с такой гордостью писал ее!

Теперь уже я думал только о том, чтобы утешить его.

– Ну, ладно, оставим это, – говорил я. – Я уверен, что вы это сделали с наилучшими намерениями и притом были уверены, что действуете вполне добропорядочно.

– Могу поклясться чем угодно, что это так! – вскричал он. – Это блестящая, первокласснейшая газета – «Воскресный Герольд», издающаяся в Сент-Джо. Мысль о корреспонденциях принадлежит мне; я лично виделся и переговорил с издателем, убедил его. Новость этой идеи

понравилась ему, и я ушел от него с контрактом в кармане, и в тот же вечер, там же, в Сент-Джо, написал свою первую корреспонденцию из Парижа. Издатель, как только взглянул на заголовок, так прямо и сказал: «Вы именно тот, кто нам нужен».

Конечно, я был не очень-то утешен этим первым кратким опытом в литературном жанре, но я ничего не сказал и упражнял свою душу в терпении, пока не дождался номера газеты, на уголке которой было написано: «Привет от Д. П». Я с чувствительной робостью развернул лист, и вот, между отчетом о борьбе за призы и статьей о какой-то хироподии (вы только вообразите себе эту хироподию, обработанную по-газетному!) я увидел полтора столбца, в которых шло восхваление меня самого и моей статуи. Подобно тому, как это сделал издатель с Первой корреспонденцией, я тоже прежде всего бросил взгляд на заголовок и был удовлетворен по горло.

НОВАЯ ПИКАНТНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА ПИНКЕРТОНА

УЧЕНИКИ-ХУДОЖНИКИ В ПАРИЖЕ

МУСКЕГОНСКИЙ КОЛОННАДНЫЙ КАПИТОЛИЙ

Сын Миллионера Додда,

Патриот и артист,

«Он намерен сделать лучше».

В тексте статьи, по мере того, как мои глаза пробежали его, встречались чертовски сильные выражения: «Фигура несколько мясистая...», «яркая, полная ума улыбка...», «бессознательность гения». «Теперь мистер Додд, – заканчивал корреспондент, – каково же будет ваше мнение об особенном, чисто американском качестве скульптора?» Верно, что вопрос этот был задан, и – увы! – верно и то, что я на него ответил! И мой ответ, представлявший собой какое-то странное крошево, был предан гласности, напечатан. Я благодарил Бога, что мои друзья, французские студенты, не понимают по-английски, но когда я вспоминал о товарищах-англичанах, Мейнере, например, или Стенвайзе, мне кажется, я готов был бы кинуться на Пинкертона и избить его.

С целью рассеять, если бы это было возможно, мои мрачные мысли, вызванные этой напастью, я обратился к письму моего отца, которое как раз было получено. В конверте была вырезка из газеты, и мои глаза опять сновали по «сыну миллионера Додда», «мясистой фигуре» и прочим позорным бессмыслицам. Что подумал мой отец, захотелось мне узнать, и я развернул его письмо.

«Дражайший мой мальчик, – так начиналось оно, – посылаю тебе вырезку из Сент-Джозефской большой газеты, доставившую мне большое удовольствие. Наконец-то и о тебе заговорили, и я не могу без радости и

признательности подумать о том, сколь немногие юноши твоего возраста занимают собою два газетных столбца, посвященные исключительно им. Как бы мне хотелось, чтобы твоя мать была при этом и прочла бы это через мое плечо. Но мы будем надеяться, что она созерцает мое признательное волнение с небес. Я послал вырезку твоему дедушке и дяде в Эдинбург, так что прилагаемую ты можешь оставить у себя. По-видимому, этот Джим Пинкертон – очень ценное для тебя знакомство; у него, наверное, большой талант. Вообще знакомство с писателем – очень хорошая вещь».

Все это, надеюсь, можно было записать на правую сторону моей счетной книги. И не успел я дочитать этих слов, таких трогательно мягких, как моя злоба против Пинкертона превратилась в благодарность. Из всех событий моей жизни, за исключением, быть может, моего рождения, ни одно не доставило моему отцу такой глубокой радости, как эта статья в «Воскресном Герольде». Как же я был глуп, что вздумал жаловаться! Вместо этого я должен был бы благодарить, и мне следует теперь погасить этот долг. Поэтому, при первой же встрече с Пинкертоном я все ему рассказал.

– Отец доволен и находит статью очень искусно написанной, – сказал я ему. – Впрочем, что до меня самого, то публичность мне не по вкусу; публика не имеет дела с артистом, а только с его произведениями искусства. Я знаю, что вы действовали под влиянием доброго чувства, но прошу у вас как милости, чтобы вы впредь этого не делали.

– Ну, так и есть, – уныло произнес он. – Я обидел вас, знаю, что обидел, Лоудон, не разуберяйте меня. Это была бестактность.

Он сел и склонил голову на руку.

– Видите, когда я был юношей, я не получил хорошего воспитания, – добавил он.

– Ничуть не бывало, милый мой друг, – сказал я. – Только в другой раз, когда захотите оказать мне услугу, говорите лишь о моей работе; оставьте в покое мою злополучную особу, и в особенности мои злополучные разговоры, а главное, прошу вас, – добавил я с содроганием, которое не мог подавить, – не описывайте, мою манеру говорить. Ведь вот тут, например, вы пишете, что я проговорил свои слова «с гордой и веселой улыбкой». Ну, кому надо знать, улыбался я или не улыбался!..

– Ну, нет, Лоудон, вы ошибаетесь, – прервал он меня. – Публика это любит; описание личности имеет свои выгоды. Перед читателем словно воочию происходит вся сцена; разве не приятно последнему из граждан пережить то же, что я пережил? Подумайте хоть, например, о моих чувствах в то время, когда я странствовал со своими ферротипиями, если бы в то время мне попалось полтора столбца разговора журналиста с каким-нибудь артистом в его мастерской, за границей, разговора именно о его искусстве; разве мне не было бы приятно узнать, как он выглядит, как он сделал то или другое, какой вид имела комната, что подавали на завтрак. Разве я не мечтал бы в то время, когда уселся закусьивать где-нибудь у ручейка, о том, что если дела пойдут удачно, то рано или поздно и меня ждет такой же успех. Ведь это похоже на щелочку, сквозь которую подглядываешь, что делается на небе!

– Ну, коли это доставляет такое удовольствие, то потерпевший не будет жаловаться, – согласился я. – Только напишите уж и о других товарищах.

Дело кончилось тем, что дружеские отношения между мной и газетным сотрудником очень укрепились. Если я что-нибудь понимаю в человеческой натуре – и здесь слово если я употребляю вовсе не ради риторики, а чтобы выразить откровенное сомнение, – то дружба наша закрепилась не взаимными выгодами, не вместе перенесенными и благополучно пережитыми опасностями, а именно этой размолвкой, этой фундаментальной разницей вкусов и воспитания, взаимно признанной и прощенной.

Глава IV

Я испытываю капризы фортуны

Оттого ли, что я уже был научен горьким опытом моего двукратного банкротства в Коммерческой школе, или путем прямого унаследования от моего деда, бывшего подрядчика, старика Лоудона, – не подлежит сомнению тот факт, что я был человек бережливый. Смотря на себя беспристрастным оком, я должен признать, что это была моя единственная добродетель. В течение двух первых лет моей жизни в Париже я не только не выступал из пределов получаемой мной пенсии, но даже скопил изрядное сбережение в банке. Вы скажете, что при моей маскарадной жизни на манер бедного студента мне это было вовсе не трудно; у меня должны были оказаться запасы средств, и было бы удивительно, если б у меня их не было. Случай, приключившийся со мной на третьем году парижской жизни, вскоре после знакомства с Пинкертоном, показал мне, что я поступал очень благоразумно. Подошел срок присылки мне денег, а повестки не было. Я послал письмо, и в первый раз за все время не получил на него ответа. Каблограмма оказалась действеннее, потому что принесла мне хоть надежду на то, что мне окажут внимание. «Напишу обо всем», – телеграфировал мне отец. Но я долго не получал от него письма. Я был сбит с толку, зол и встревожен. Однако благодаря сбережениям не могу сказать, чтоб был на самом деле поставлен в затруднение. Затруднение, бедствие, агония – все было на стороне моего несчастного отца, там, дома, в Мускегоне, где он боролся за существование и имущество против своенравной судьбы; после длинного дня, проведенного в бесплодных хлопотах, он возвращался домой, чтобы читать и, быть может, рыдать над последним сердитым письмом его единственного детища, на которое он не имел мужества ответить.

Месяца через три, когда мои сбережения начали уже истощаться, я, наконец, получил письмо с обычным переводным векселем.

«Дорогой мой мальчик, – писал он, – под давлением трудных обстоятельств твои последние письма поневоле были оставлены без ответа некоторое время. Ты должен попытаться извинить твоего бедного старого папу, потому что для него наступили тяжелые времена. И теперь, когда все это прошло, доктор предписывает мне взять ружье и отправиться в Адирондаке ради отдыха. Не думай, что я расхворался, нет, я только ужасно утомлен и стал чувствителен к погоде. Многие из наших дельцов уезжают отсюда. Джон Мак-Бреди уехал в Канаду; Билли Сандуис, Чарли Даукс, Джо Кайзер и многие другие из наших выдающихся людей повалились так, что уж и подняться не могут, только упорный Додд выдержал бурю, и я думаю, мне так удалось устроиться, что к осени мы будем богаче, чем были раньше.

Теперь хочу сказать тебе, дорогой мой, что я затеял. Ты говоришь, что твоя первая статуя удалась. Отделай и закончи ее как следует, и если твой учитель – все я забываю, как выговаривается его имя, – пришлет мне удостоверение, что она исполнена вполне удовлетворительно по правилам искусства, ты получишь десять тысяч долларов и можешь ими распорядиться, как тебе вздумается у себя на родине или в Париже. Если, как я предполагаю, в Париже всего удобнее работать, то тебе бы хорошо было купить или выстроить себе там домик; и твой папа первым делом заявился бы к тебе на новоселье позавтракать. Я и в самом деле собираюсь к тебе; стар становлюсь и очень уж скучаю о моем дорогом мальчике, так долго его не выдавши, да только вот задерживают разные операции, которые надо как следует наладить и пустить в ход. Скажи своему другу Пинкертону, что я

читаю его корреспонденции каждую неделю; и хотя я напрасно искал в них имя моего Лоудона, все же ознакомился с жизнью, какую он ведет в этом страшном Старом Свете, описываемом талантливым пером».

Это было такое письмо, какое ни один молодой человек не может переварить в одиночестве. В нем было нечто, чем было необходимо с кем-нибудь поделиться. И, конечно, избранный мной для этого приятель не мог быть не кто иной, как Пинкертон. На этот выбор могло навести меня даже само письмо моего отца; но я это только так говорю, потому что наша дружба с Пинкертоном и без того зашла достаточно далеко. Я чувствовал сердечное влечение к моему земляку. Случалось, что я и подтрунивал над ним, и журил, но все же любил его. Он со своей стороны питал ко мне что-то вроде собачьей привязанности; он смотрел на меня как-то снизу вверх, как человек, который восторгается в другом теми преимуществами, какими сам желал бы обладать. Он ходил за мной по пятам; его смех сопровождал мой; наши общие друзья дали ему кличку «пажа». Порабощение ближнего предстало предо мной в этом коварном виде.

Мы с Пинкертоном читали и перечитывали знаменитое послание, и могу поклясться, что он делал это с более чистой и шумной болтливой радостью, чем я сам. Моя статуя была почти закончена; мне оставалось несколько дней работы, чтобы подготовить ее на выставку; она была показана учителю, и он дал согласие. И вот, в одно пасмурное майское утро, мы собрались в моей мастерской, ожидая экзамена. Учитель был украшен своей орденской ленточкой. Он явился в сопровождении двух моих сотоварищей-учеников, французов; оба были мои друзья, и оба теперь известные парижские скульпторы. Наш «капрал», как мы называли его, на этот раз отложил в сторону свои учительские манеры, которыми он так много выигрывал во мнении публики, и держался просто, по-провинциальному. Тут же, по особой моей просьбе, присутствовал и мой милый, старый Ромнэй; кто его знал, тот понимал, что удовольствие тогда только будет полным, когда его разделяешь с Ромнэем, да и горе переносится куда легче, если Ромнэй тут, – он сумеет утешить. Сборище дополнялось англичанином Мейнером и братьями Стеннисами, Стеннисом-aîné (то есть старшим) и Стеннисом-frère (то есть братом), как они обычно различались; оба были легкомысленные шотландцы; конечно, присутствовал и неизбежный Джим, бледный как полотно и покрытый испариной от боязливого ожидания.

Я думаю, что и сам-то я был разве немного получше в ту минуту, когда стаскивал холстину с моего Мускегонского Гения. Учитель молча и серьезно обошел его вокруг; потом он улыбнулся.

– Что ж, это уже недурно, – сказал он на своем ломаном английском языке, которым он так гордился, – нет, ничего себе, недурно.

Все мы вздохнули с облегчением. Капрал Жан (как старший среди присутствующих), объяснил, что статуя предназначается для публичного здания, которое представляет собой нечто вроде префектуры.

– Что-о-о?.. – внезапно переходя на родной язык, воскликнул учитель. – *Qu'est-ce que vous me chantez là?..* (Что вы мне поете). – Ах, да, в Америка! – добавил он, выслушав дальнейшие разъяснения. – Ну, эта трукой тел! Тогда ошень харошь, ошень харошь!..

Тут ему постарались осторожно и в шутовском тоне внедрить мысль насчет свидетельства от его имени о благоуспешности работы. Упомянули при этом и об отцовской фантазии американского набоба и даже что-то такое о краснокожих Фенимора Купера. Пришлось вкуче сочетать все наши таланты, чтобы придумать приемлемую с обеих сторон формулу этого аттестата. Наконец придумали, и капрал Жан изложил ее своим неудобочитаемым почерком; учитель украсил ее своей подписью с надлежащим росчерком; я запечатал аттестат в конверт вместе с другим заготовленным письмом, и в то время, как мы всей компанией тронулись завтракать на бульвар, Пинкертон помчался на почту сдать мое послание.

Завтрак был заказан у Лавеню, где можно было без смущения и колебания угощать даже и учителя. Стол накрыли в садике. Я сам позаботился насчет меню, а насчет вин состоялся

целый военный совет, принявший самое удовлетворительное решение. Как только учитель отложил в сторону свой ужасный английский язык, так тотчас же общая беседа приняла почти исступленные размеры. Правда, она иногда прерывалась тостами. Выпили за здоровье наставника, и он ответил ловко скомпонованным спичем, полным счастливых намеков на мою будущность и на Соединенные Штаты. Потом пили за мое здоровье; потом не только предложили и выпили за моего отца, но и решили ему послать телеграмму – экстравагантность, которая взяла начало в разнузданных от возлияний чувствах учителя. Избрав для исполнения этого поручения капрала Жана (вероятно, на том основании, что он уже почти стал артистом), учитель все повторял: «C'est barbare!», очевидно, выражая этими словами свои восторженные чувства. В промежутках между этими излияниями пылких чувств мы говорили, говорили без умолку об искусстве так, как могут говорить только артисты. Здесь, в южных морях, мы больше всего говорим о шхунах, а там, в Латинском квартале, мы толковали об искусстве с таким же неослабным интересом и, пожалуй, с таким же результатом.

Учитель через некоторое время удалился восвояси; капрал Жан последовал за ним по пятам (ведь он был уже и сам что-то вроде юного учителя), а с их уходом устранились всякие церемонии; теперь мы оставались все равные; бутылки ходили по кругу, разговор оживился. Мне кажется, я и сейчас слышу словообильные тирады братьев Стеннисов. Дижон, мой сосед по комнате, сыпал удачнейшими остротами; кто-то другой, не француз и человек не бойкий в иностранных языках, все старался вломиться в беседу, выстреливая фразами, вроде: «Je trouve que pore oon sontimong de delicacy, Corot...» или «Pour moi Corot est le plou»¹⁵, но его маленький французский плот сразу нырнул под воду, а потом снова карабкался на берег. Но этот, по крайней мере, хоть понимал, что говорят другие; а вот Пинкертона, так тот от шума, вина, солнца, от зеленой тенистой листвы, наконец, от гордого сознания, что он участвует в иноземном пиршестве, лишился всякой возможности участвовать в разговоре.

Мы сели за стол около половины двенадцатого и, надо полагать, часов около двух, под влиянием разговоров и споров об искусстве и картинах, решили отправиться в Луврскую Галерею. Я уплатил по счету, и спустя минуту мы уже шествовали по Реннской улице. Была удушающая жара. Париж блистал тем свойственным ему поверхностным блеском, который так приятен человеку в сильно приподнятом настроении духа и так угнетает при подавленном настроении. Вино шумело у меня в ушах, прыгало и сверкало у меня в глазах. Картины, которые мы смотрели в тот день, быстро и шумно проходя по бессмертным галереям, казались мне упоительными, а наши замечания о них, то важные, то игривые, относились к области критики высочайшей марки.

Когда мы вышли из музея, в нашей компании обнаружилась разница расовых вкусов и склонностей. Дижон предлагал идти в кофейню и закончить день пивом. Старший Стеннис возмущался этим предложением и настаивал на загородной прогулке в лес, что ли, но только чтобы куда-нибудь подальше идти. В то же время англичане стояли за какую-нибудь гимнастическую или спортивную затею. Мне лично, часто тяготившемуся моим сидячим образом жизни, мысль о загородной прогулке показалась самой привлекательной. Прикинули время и увидели, что у нас как раз хватит времени поспеть на извозчиках к скорому поезду, идущему в Фонтенбло. Но с нами кроме одежды не было почти ровно ничего из обычной поклажи путешественников; возник вопрос, не найдется ли у нас еще время на то, чтобы запастись, заехав домой, сумками? Но братья Стеннисы возопили против нашей изнеженности. Они приехали из Лондона, кажется, только с одними пальто да зубными щеточками. Вся тайна существования состоит в том, чтобы обходиться без багажа. Конечно, обращаться к парикмахеру каждый раз, когда нужно причесаться или побриться, – это требует лишних расходов, и каждый раз

¹⁵ Французские фразы, изуродованные в произношении на английский манер: «Я нахожу, что в отношении чувства деликатности, Коро... и „Для меня Коро наиболее...“»

при покупке новой рубашки приходится бросать заношенную. Но все, что вам угодно, лучше, – рассуждали братья Стеннисы, – чем быть рабом чемодана и саквояжа.

– Добрый малый должен понемногу освобождаться от всяких материальных привязанностей, – говорили они, – это будет настоящее состояние человека взрослого, а до тех пор, покуда вы чем бы то ни было связаны – домом, зонтиком, дорожным ремнем, – это будет все равно, что у вас еще пуповина не перерезана.

В этой теории было что-то заманчивое, увлекавшее большинство из нас. Правда, два француза, посмеявшись над нами, ушли пить пиво, да Ромнэй, человек небогатый, не мог принять участие в поездке на свои средства и не желавший одолживать, тоже ушел, чтобы не навязываться. Оставшиеся в компании уселись в экипаж; кони вздрогнули, восприняв вдохновение возницы, к карманным интересам которого было обращено надлежащее воззвание; поезд был захвачен за минуту до отхода. Не прошло и полутора часов, как мы уже вдыхали нежнейший воздух леса; мы шли через холм от Фонтенбло к Барбизону, и вожди нашей компании прошли это расстояние в пятьдесят одну с половиной минуту, – в своем роде исторический рекорд той местности. Едва ли вы изумитесь, узнав, что я несколько поотстал от них. Философски настроенный британец, Мейнер, был моим спутником; великолепие солнечного заката, длинные тени, чудный воздух, вообще все наслаждение, доставляемое лесом, побуждало меня шагать молча, и мое молчание сообщалось моему спутнику. Помню, что когда он, наконец, заговорил, то я словно встрепенулся от глубокой задумчивости.

– Ваш отец, должно быть, добрейший из отцов, – сказал он. – Чего он не приедет сюда повидаться с вами?

У меня нашлось бы на это несколько дюжин ответов готовых, да еще больше того в запасе; но Мейнер сосвойственной ему пронизательностью, из-за которой его все боялись и которой все дивились, внезапно уставился на меня сквозь свои очки и спросил:

– Вы настаивали на том, чтобы он приехал?

Кровь залила мое лицо. О, нет, никогда я не настаивал на том, чтобы он приехал; никогда даже никак и ничем его не побуждал к тому. Я им гордился, гордился его внешностью, его манерами, его лицом, которое становилось таким ясным, когда он видел, что другие счастливы; гордился, хотя и нехорошо, пожалуй, было этим гордиться, его большим богатством и щедростью. Притом он знал о моей жизни в Париже во всех подробностях, и кое-что в этой жизни не одобрял. Я боялся, чтобы кто-нибудь не стал насмехаться над его наивными отзовами об искусстве. Я всем говорил, да отчасти и сам тому верил, что он не собирается в Париж. Я был и теперь еще остаюсь в убеждении, что вне Мускегона он всюду будет чувствовать себя нехорошо. Словом, у меня были тысячи всяких дурных и хороших причин ни на йоту не сомневаться в том, что он ждет только моего приглашения.

– Спасибо вам, Мейнер, – сказал я, – вы лучший товарищ, чем я думал. Я сегодня же напишу ему.

– О, вы очень скромный человек, – ответил он с более чем обычной живостью, но как мне казалось, без малейшего следа иронии.

Да, это были хорошие дни, о которых я всегда буду помнить. Не дурны были и те, которые за ними последовали, когда мы с Пинкертоном слонялись по Парижу и его пригородам, осматривая дома для моей новой мастерской и прицениваясь к ним, или, покрытые пылью, несли домой разных китайских идолов и бронзовые вещи, приобретенные у старьевщиков. Пинкертон потратил немало денег на покупку разных картин и редкостей для Соединенных Штатов; тут в этом деле, между прочим, выяснилось, что он, не будучи знатоком, проявил себя все же хорошим оценщиком. Сами вещи не возбуждали в нем ровно никакого чувства, но он радовался, что дешево купил их и дорого продает.

Между тем подошло время, когда я должен был получить ответное письмо от отца. Почта приходила каждый день, но мне ничего не доставляли. Наконец я получил какое-то странное

письмо, почти бессвязное, в котором были и утешения, и ободрения, и вопли раскаяния и отчаяния. Из этого возбуждавшего жалость документа, который я, движимый сыновним чувством, поспешил сжечь как только прочитал, я убедился в том, что пузырь богатства моего отца лопнул, что он и нищ, и болен, я вместо того, чтобы получить десять тысяч долларов и растратить их по-мальчишески, мог быть спокоен за свою будущность лишь в пределах той четверти года, которая у меня была оплачена. Касса моя пока еще была довольно исправна; но во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы понять, и достаточно благоприличия, чтобы исполнить свой долг. Я продал все свои редкости, или, правильнее сказать, поручил Пинкертону продать их; но он так экономно их покупал и так расчетливо распродал, что потеря моя на них оказалась ничтожной. Вместе с тем, что у меня оставалось от последней пенсии, у меня всего скопилось не менее пяти тысяч франков. Из них пятьсот я отложил на мои текущие нужды; остальные все на той же неделе отправил отцу в Мускегон, куда эти деньги и пришли как раз ему на похороны.

Известие о смерти отца поразило меня более как неожиданность, нежели как горе. Я не мог себе представить отца бедным человеком. Он слишком долго вел жизнь беззаботную и расточительную, чтобы перенести такую перемену. За себя я горевал, но за отца радовался, что он ушел от предстоящей житейской борьбы. Я сказал, что горевал за себя; кто знает, может быть, в то самое время тысячи людей тоже горевали по причинам гораздо более ничтожным. Я потерял отца; я лишился средств к существованию; все мое богатство, считая и то, что мне пришлют обратно из Мускегона, едва ли превысит тысячу франков; да еще к довершению моей беды контракт на поставку статуй перейдет в другие руки. А у нового контрагента был свой собственный сын или, быть может, племянник, и мне с надлежащими соболезнованиями было дано знать, чтобы я искал другой рынок для моего товара. Я сдал свою комнату и стал ночевать в мастерской на складной кровати. И теперь, было ли дело ночью, когда я укладывался спать, или утром, когда я просыпался, передо мной торчала эта, отныне бесполезная груда – мой Мускегонский Гений. Бедная каменная барыня! Явилась она на свет для того, чтобы воцариться над позолоченным, гулкозвучным куполом нового Капитолия, а теперь кто знает, какая судьба ее ждет! Может быть, она будет разбита, пойдет в лом, как неудачно выстроенное судно, негодное для плавания! И что-то станет с ее злополучным создателем, с его тысячной франков на пороге такой трудной жизни, как жизнь скульптора!

Обо всем этом мы с Пинкертоном часто разговаривали. По его мнению, мне следовало немедленно бросить мою профессию.

– Бросить надо все это, сейчас же! – убеждал он меня. – Поедем вместе домой и там всей душой уйдем в дела. У меня есть деньги, у вас образование. «Додд и Пинкертон»! Лучшего сочетания имен для объявлений я и не видывал. А вы себе представить не можете, Лоудон, как много значит имя!

Я лично держался того мнения, что скульптор должен обладать одним из трех достоинств: капиталом, значением или же энергией, но не менее как адской. Два первых шанса у меня теперь были утрачены, а к третьему у меня никогда не было ни малейшего позова. Поэтому у меня теперь и обозначилось малодушие (а кто знает, пожалуй, и мужество), побуждавшее меня повернуться спиной к моей карьере, хотя и не бежать от нее. Я говорил Пинкертону, что как ни малы были мои шансы на успех по скульптурной части, но в коммерческих делах они могут оказаться еще слабее, и что к ним-то я уже совсем не чувствую ни склонности, ни способности. Но об этом он рассуждал так же, как покойный отец. Он уверял меня, что я говорю не зная дела; что каждый умный и образованный человек наверняка будет иметь успех в торговле; что я должен в этом смысле унаследовать способности своего отца; и что, наконец, я подготовлен к этому в торговой школе.

– Но вспомните же, Пинкертон, – говорил я ему, – что за все время пребывания здесь я не выказывал ни малейшего интереса к какому-либо торговому делу! Для меня всякое «дело» – чистая отравка!

– Не может этого быть! – кричал он. – Невозможно это! Вам нельзя будет жить среди дел и не чувствовать стремления к ним! Какая бы там ни была у вас поэтическая душа, вам не утерпеть! Ей-Богу, Лоудон, вы меня с ума сведете! Ведь подумайте – там, где люди бьются с утра до ночи, до истощения сил, вы не хотите рискнуть грошом, чтобы попытаться счастье! Тут у вас, около самых рук ваших, целая будущность, целое богатство, и вы только высматриваете какую-нибудь щелочку, куда бы можно было просунуть руку с долларом, и вы стоите одной ногой в разорении, а другой – на груди долларов, и все кругом вас бурлит и кипит в погоне за удачей, – да неужели все это не способно вовлечь в себя человека и закружить его!

На эту поэму торгашества я мог ответить поэмой искусства. Я напомнил ему пример упорного труда, настойчивости, упорного сопротивления всяким невзгодам жизни, которыми иллюстрируется служение Аполлону, начиная от Милье и кончая нашими товарищами и друзьями, которые карабкаются сквозь скалы и камни, без копейки в кармане, но полные надежд.

– Вам никогда не понять этого, Пинкертон, – сказал я ему. – Вы глядите только на результат; вам нужна выгода как результат ваших усилий; поэтому вы никогда не выучитесь рисовать, хотя бы прожили Мафусаилов век. Результат всегда ошибка; взор артиста углублен внутрь; он живет ради идейного образа. Взгляните на Ромнэя. Вот это настоящая артистическая натура. У него нет ни копейки, а предложите ему на завтра командование армией или президентство в Соединенных Штатах, он не примет, вы это сами хорошо знаете.

– Да, не примет, – кричал Пинкертон мне в ответ, ероша волосы обеими руками, – и я не могу понять почему! И не знаю, чего он хочет и что из него выйдет. Я не могу до этого возвыситься; должно быть, это происходит от недостатка образования. Но одно скажу, Лоудон: я так ничтожен, что все это мне кажется глупостью. Ведь как ни верти, – добавил он с улыбкой, – я не вижу, что вы будете делать с вашими «идейными образами» без хорошего обеда. И вы никакими силами не выколотите из моей головы убеждения, что задача каждого человека состоит в том, чтобы стать богачом, если он может.

– Но чего ради? – спросил я.

– Не знаю, – ответил он. – Чего ради, например, вот хоть вы стремитесь сделаться скульптором? Я сам с удовольствием стал бы скульптором. Я только не могу понять, почему вы не хотите быть и еще кем-нибудь. Мне думается, что это указывает на ограниченность природы.

Уж не знаю, понял он меня или нет, – притом я сам, после перенесенных мной ударов, был в таком состоянии, что и сам-то себя, пожалуй, не понимал, – но все-таки через некоторое время убедился, что я говорю серьезно. Пробившись со мной дней десять, он вдруг оставил все эти разговоры и объявил мне, что его деньги на исходе, и что ему надо ехать домой. Нет сомнения, что он уже давно бы собрался и уехал, и если оставался, то лишь ради нашей дружбы и сочувствия к моим бедствиям. Но человек уж так устроен, что я хоть и понимал это, но от этого только пуще раздражался. Его отъезд мне представлялся чем-то вроде бегства. Я этого не говорил, но, должно быть, невольно это выказывал. И мне казалось, что я усматриваю что-то вроде раскаяния в его удрученном, как у висельника, лице и всей фигуре. Несомненно лишь то, что во время его сборов мы как-то сторонились друг от друга, – обстоятельство, о котором я вспоминаю со стыдом. В последний день он повел меня обедать в ресторан, который, как он знал, я раньше посещал, а потом, ради экономии, перестал туда ходить. Он казался очень расстроенным; я тоже был и скучен, и зол; обед прошел у нас почти без разговоров.

– Ну, Лоудон, – заговорил он с видимым усилием, после того, как мы выпили кофе и стали курить, – едва ли вы в силах понять всю признательность, все благожелание, какие я к вам чувствую. Вы не знаете, какое это благодеяние – быть принятым в друзья человеком, который стоит на вершине цивилизации; вы не можете себе представить как это исправило и

очистило меня, как это подняло мою духовную натуру. И мне хочется сказать вам, что я готов умереть у ваших дверей, как собака.

Уж не помню, что я собирался ответить ему, но он перебил меня.

– Дайте мне договорить! – крикнул он. – Я глубоко уважаю вас за то, что вы всю душу вкладываете в искусство; я не могу до этого подняться, но и во мне есть какая-то поэтическая струнка, Лоудон, которая отзывается на это чувство. И я хочу поддержать вас, помочь вам.

– Что это за нелепости, Пинкертон? – прервал я его.

– Погодите, Лоудон, не выходите из себя; это чисто деловое предложение, – сказал он. – Ведь как живут все эти ребята в Париже, – Гендерсон, Сомнер, Лонг?.. У всех одна и та же история. С одной стороны молодой человек, полный художественного гения, с другой – деловой человек, который не знает, куда девать свои доллары...

– Но, глупый вы человек, ведь вы бедны как церковная крыса! – закричал я.

– Дайте мне раскалисть в огне мое железо! – возразил Пинкертон. – Я поклялся стать богачом. И я вам говорю, что я этого добьюсь. Вот ваша первая пенсия; возьмите ее из рук друга. Я из тех, кто считает дружбу вещью священной, и я знаю, что вы такой же. Тут всего сто франков. И такую же сумму вы будете получать каждый месяц; а как только мои дела улучшатся, мы повысим пенсию до надлежащих размеров. И не думайте, что это милость с моей стороны. Нет, я буду продавать ваши статуи в Америке, и буду это считать одним из самых лучших торговых дел в моей жизни.

Немало мне довелось потратить времени и немало мы оба испытали тяжелых волнений, пока я наконец решительно отказался от его предложения и мы покончили дело, потребовав бутылку вина. Он наконец бросил этот разговор, решительно выкрикнув: «Ну, ладно, пусть будет так!»

Остаток дня мы не расставались, но он уже не возвращался к этому предмету. Я провожал его до Сен-Лазарского вокзала. Я почувствовал угнетающее одиночество. Какой-то голос шептал мне, что я разом отринул и советы мудрости, и дружескую руку помощи. И в то время, как я возвращался к себе домой через блестящий город, я в первый раз смотрел на него сквозь призму невзгод.

Глава V

Я в затруднительных обстоятельствах в Париже

Нигде в мире голодание не бывает приятным занятием, но я думаю, что едва ли где в другом месте оно так тягостно, как в Париже. Здесь внешняя сторона жизни такая веселая, столько тут увеселительных садиков с выпивкой, дома так разукрашены, театры так многочисленны, экипажи так оживленно мчатся, что человек, у которого подавлен дух или страждет тело, волей-неволей углубляется в себя. Самому себе он кажется единственным серьезным существом, движущимся среди этого мирка, полного какой-то ужасной нереальности. Веселый народ, выходящий из кофеен, «хвосты» покупающих билеты у театров, праздничные экипажи, наполненные людьми, предпринявшими увеселительную поездку, разряженные женщины на панелях, роскошные выставки в окнах ювелиров – все эти обычные парижские зрелища как будто усиленно подчеркивают личное несчастье человека, его ожидания, его отчужденность. Но в то же время человек с моим складом характера находит в этом и свое ребяческое утешение. «Ведь это и есть жизнь, это именно и есть настоящая действительность, – говорит он себе. – Пузыри, которые держали меня на воде, лопнули, и теперь я очутился во власти океана; от моей ловкости зависит – погибнуть или спастись». И я на деле переживал теперь все, что с таким наслаждением читал когда-то о героях романов, – Лусто, Люсьене, Родольфе и Шонаре.

Не буду шаг за шагом проследивать мое обнищание. Пришло время, когда мне пришлось прибегнуть к тому, что политично называется «займом» (хотя эти займы никогда не возвращаются), – вещь, состоящая в беспрестанной беготне от одного приятеля к другому, практикуемая иными по несколько лет подряд. Но меня и тут преследовала неудача. Многие товарищи уехали, а другие и сами бились в нужде. Так, например, Ромнэй дошел до того, что странствовал по Парижу в деревянных башмаках, а костюм его пришел в такое плачевное состояние (назло искуснейшему применению к нему булавок), что служащие в Люксембургском музее намекали ему, что, мол, лучше бы ему уйти. Дижон тоже был на мели и кое-как перебивался расписыванием часовых циферблатов да ламповых подставок по заказу одного купца. Все, что он мог мне предоставить, – это угол в его мастерской, где я мог работать. Моя собственная мастерская была мною утрачена, и во время моего выдворения из нее Мускегонскому Гению пришлось распротиться со своим создателем. Для того, чтобы держать у себя такую статую во весь рост, надо обладать мастерской или галереей или хоть углом где-нибудь на задворках или в садике. Нельзя увезти ее с собой, как чемоданчик, положив ее в пролетку, нельзя также и жить в камерке длиной в пятнадцать и шириной в десять футов с таким объемистым компаньоном. Я сначала думал было оставить ее в мастерской; тут, в месте своего Рождения на свет, она, быть может, как мне думалось, могла бы вдохновлять моего преемника. Но домохозяин, с которым я, по несчастью, повздорил, рад был случаю сделать мне лишнюю неприятность и потребовал, чтобы я убрал свою недвижимость. Для меня при тогдашних моих финансах наем тележки для перевозки составлял крупную трату, да притом меня разбирал истерический смех при мысли о том, как я повезу по улицам Парижа моего Мускегонского Гения. Да и куда повез бы я его? Разве до ближайшей мусорной кучи, куда и пришлось бы мне свалить это излюбленное детище моей творческой мысли. В сей крайности я был рад-радехонек, когда нашелся покупатель, которому я и сбыл моего Гения за тридцать франков. Где-то он теперь красуется? Под каким наименованием выставлен на одобрение или порицание публики? Об этом история умалчивает. Мне хотелось бы, чтобы он украшал собой тенистые кущи какого-нибудь пригородного кабачка, где праздничные посетительницы вешают на мать свои шляпки, а кавалеры их из любезности называют младенца богом любви.

Мне удалось заполучить кредит в одной съестной лавочке, находившейся в черте внешних бульваров; я там обедал. Что же касается ужина, то я сказал, что обычно провожу вечера в домах у богатых знакомых. Такой распорядок моего дня был, кажется, принят с большим недоверием. С первого раза моим рассказам еще, пожалуй, и можно бы было поверить, покуда моя одежка была в сносном состоянии, но потом мой сюртучок начал ярко лосниться, а затем и обтрепываться по краям, а сапоги – чавкать при ходьбе. Притом одноразовое питание хотя и чудесно соответствовало состоянию моих финансов, вовсе не удовлетворяло моего чрева. Рестораны такого рода я часто посещал еще в то время, когда, ради опыта, желал испробовать жизнь, какую вели студенты беднее меня. И никогда я не мог в них войти без отвращения и выйти из них без тошноты. И вот теперь я дивился на самого себя, как это я ем в таком месте с такой алчностью, встаю из-за стола очень довольный собой и считаю часы, отделяющие меня от нового заседания за этим столом. Но голод – великий маг и волшебник. Как только моя кассовая наличность иссякла, и я не мог заморить червяка чашкой шоколада или добрым ломтем хлеба, я очутился в полной зависимости от этой извозчицкой съестной и кроме нее мог рассчитывать только на редкие, долго и томительно ожидаемые и долго потом вспоминаемые счастливые случайности. Так, иной раз Дижон заполучал мзду за свою мазню, иной раз какой-нибудь старый приятель проездом являлся в Париж. Тут мне удавалось пообедать, как душа требовала, да еще и устроить заем на началах, принятых в Латинском квартале, заем, который обеспечивал меня табаком и утренним кофе недели на две; последнее было, конечно, много существеннее первого. Можно бы подумать, что такая жизнь, протекающая в самом близком соседстве с границей голода, должна была бы притупить остроту чувств моего неба. Ничуть не бывало. Чем скуднее у человека диета, тем больше изощряется вкус к лакомого куску. Остаток моей кассовой наличности, что-то около тридцати франков, был мною добросовестно проеден на одном обеде, а все мое свободное время, когда я был один, расходовалось на изобретение подробностей разных пиршеств, о которых я мечтал.

Однажды блеснул было мне луч надежды – заказ на бюст, сделанный одним богатым американцем, уроженцем южных штатов. Это был щедрый господин, говорун, весельчак; во время сеансов он все потешал меня, а после сеансов водил меня обедать и осматривать Париж. Я хорошо и сытно ел, начал даже отъедаться. Я снова ощущал радость бытия и, признаюсь откровенно, начал даже мечтать о том, что моя будущность обеспечена. Но когда бюст был готов и я его отправил за Атлантический океан, я так и не дождался уведомления о его получении. Это был для меня жестокий удар. Я был повержен в прах, да не чаял и подняться. А тут еще впуталась в дело и честь моей родины. Дижон осветил все это происшествие с европейской точки зрения. Он начал меня уверять, что таковы уж нравы американцев. Вся Америка – вертеп разбойников без малейшего признака законности и порядка; там долги могут быть взысканы лишь с помощью огнестрельного оружия.

– Ведь это знает весь свет, – говорил он, – только вы один, *mon petit* Лоудон, не знаете этого. Был случай, что члены верховного суда в Цинциннати дрались кинжалами на своих судейских креслах. Прочтите, если хотите, книжку одного из моих друзей «*Le Touriste dans le Far-West*» (турист на дальнем Западе). Все это там рассказано ясным французским языком.

Совершенно изведенный и измученный такими разговорами, тянувшимися несколько дней, я принял решение доказать ему противное и поручил это дело адвокату моего покойного отца. От него я через некоторое время получил извещение, что мой должник уже успел скончаться от желтой лихорадки, и что после него его дела оказались в весьма плачевном состоянии. Я не называю его имя, потому что, хотя он и отнесся ко мне с жестокой беззаботностью, но мне думается, что, в конце концов, он бы щедро расплатился со мной.

Вскоре после того я заметил некоторую перемену в обращении со мной в извозчицкой закуской, которая положила начало новой фазе моих бедствий. В первый день мне еще удалось себя убедить, что это мне так только показалось; на следующий день я уже убедился в

том, что это действительно так; на третий день я уже не решился и войти в закусочную, и, таким образом, пропостился сорок восемь часов. Это было весьма неблагоразумно, потому что должник, избегающий показываться на глаза, этим-то именно и кидается в глаза, и нахлебник, отказывающийся от обеда, легко может быть подвергнут подозрению. На четвертый день я, однако, пришел, внутренне весь содрогаюсь. Хозяин посмотрел на меня весьма косо; служанки (это были его дочери) не обращали внимания на мои требования, да и на мои любезные поклонны и приветствия только фыркали в ответ. Когда же я вконец измученный кликнул швейцара, который подавал кушанья посетителям, мне напрямик объявили, что никакого швейцара для меня нет. Мне стало ясно, что я дошел до крайнего предела своего кредита; одна эта планочка отделяла еще меня от полной голодовки, и теперь я чувствовал, что и она начинает трещать. Я провел бессонную ночь, и как только поднялся на другое утро, то первым делом направился в мастерскую Мейнера. Я давно уж думал об этом, да все откладывал, потому что я был далеко не так близок и дружен с этим англичанином. Я знал, что денег у него много, но, однако, ни нрав его, ни молва о нем отнюдь не располагали к попрошайничеству.

Я застал его за работой: он писал картину. Я с чувством похвалил ее. Он был просто, но очень опрятно одет, представляя в этом отношении пренеприятный контраст с моим изношенным и истрепанным костюмом. В то время как мы беседовали, он то и дело переводил свои глаза со своей работы на свою жирную натурщицу, которая сидела поодаль в совершенно натуральном виде, дугообразно возведя руки над головой. Задача моя, даже и при наиболее благоприятнейших обстоятельствах была бы нелегкая, а теперь, когда я очутился между Мейнером, погруженным в свою работу, и этой жирной голой бабой в смехотворной позе, я находил ее окончательно невыполнимой. Я несколько раз начинал попытку приступить к делу, но каждый раз сам же сворачивал речь на художество. Так шло дело до тех пор, пока натурщице не был предоставлен перерыв для отдыха; она немедленно овладела разговором и принялась слабым, тихим голосом рассказывать нам об успешных делах своего супруга, да о совращении своей сестры со стези добродетели, да еще что-то такое о своем брате, крестьянине, жившем где-то около Шалона-на-Марне, так что я долгое время не мог сделать приступа к новому натиску. Я снова заговорил, высказывая общеизвестные истины об искусстве, но на этот раз сам Мейнер прервал меня и, что называется, дал надлежащее направление нашему разговору.

– Ведь вы, очевидно, не за тем пришли, чтобы болтать все эти пустяки, – сказал он.

– Нет, – ответил я с раздражением, – я пришел, чтобы попросить у вас денег взаймы.

Он некоторое время молча работал.

– Сколько помнится, мы никогда особенно не дружили с вами? – спросил он.

– Благодарю вас, – сказал я, – я принимаю это, как ответ.

И я собрался уходить. Злоба кипела в моем сердце.

– Коли хотите – уходите, – сказал Мейнер, – но я советую вам остаться и успокоиться.

– Да зачем же мне оставаться! – закричал я. – Вы хотите задержать меня, чтобы полюбоваться моим унижением?..

– Слушайте, Додд, вам следует постараться умерить и сдержать свое раздражение, – сказал он. – Ведь этого свидания добивались вы, а не я. Если вы думаете, что оно для меня неприятно, то вы ошибаетесь. Если воображаете, что я дам вам денег, не осведомившись о ваших обстоятельствах и видах на будущее, значит, считаете меня дураком. Притом же, – добавил он, – ведь самое трудное вами уже выполнено, вы высказали вашу просьбу и вам известно, чем может быть обусловлен мой отказ. Признаюсь, я не питаю особенных надежд, но все же вам стоило бы попытаться сделать меня судьей ваших дел.

Должен признаться, что это ободрило меня, и я ему рассказал мою историю о том, как я получил кредит в съестной лавочке и как этот кредит, по-видимому, иссяк; о том, как Дижон уступил мне уголок в своей мастерской, где я пытался выделывать орнаменты, фигурки для

часов: Время с косою, Леду с ее лебедем, мушкетеров для подсвечников и прочее в таком роде, да только все это не удостоилось доселе ничьего одобрения.

– А ваша комната? – спросил Майнер.

– О, с моей комнатой все обстоит благополучно, – сказал я. – Хозяйка добрая старуха, и ни разу еще не подавала мне счет.

– Коли она добрая старуха, так я не понимаю, за что же ее наказывать? – заметил Мейнер.

– Что вы хотите сказать? – вскричал я.

– А вот что, – ответил он. – У французов приняты длинные сроки уплаты, причем, конечно, предполагается, что плата производится сполна и аккуратно, а иначе такая система, конечно, никуда не годится. Теперь посмотрите, что мы сделали из этой системы. Я не думаю, чтобы было честно со стороны англосаксонцев пользоваться льготами этой системы и давать тягу через Ла-Манш или, как делаете вы, янки, через Атлантический океан.

– Да я вовсе и не думал о бегстве, – заметил я.

– Прекрасно, – возразил он. – Но выдержите ли вы, вот в чем вопрос. Мне вот что-то думается, что вы не очень-то заботитесь о хозяевах вашей извозчицкой съестной лавочки. По вашим собственным словам, вы с ними не рассчитались. И чем дальше вы будете жить здесь, тем накладнее будет для кармана вашей старухи. А теперь я скажу, что хочу вам предложить. Я приму на себя расходы по вашему путешествию в Нью-Йорк и затем оттуда до Мускегона (так, кажется?), где жил ваш отец, и где у него, вероятно, остались друзья, которые, без сомнения, окажут вам поддержку. Я не рассчитываю на благодарность и даже уверен, что вы считаете меня порядочной скотиной, я просто ставлю условие, чтоб вы мне вернули эти деньги, когда будете в состоянии. Вот и все, что я могу сделать. Если б я считал вас талантливым художником, Додд, тогда бы, разумеется, дело иное, но я вас вовсе не считаю талантливым, да и вам бы тоже посоветовал.

– Мне кажется, я вас об этом не спрашиваю, и вы могли этого не говорить, – сказал я.

– А я смею думать, что мог, – возразил он все с той же спокойной твердостью. – Я не нахожу свои слова неуместными. Да ведь сами же вы, обратившись ко мне с просьбой о деньгах без всякого обеспечения, отнеслись ко мне как к другу, значит, и я могу к вам отнестись так же. Но теперь весь вопрос в том, принимаете ли вы мое предложение?

– Нет, благодарю вас, – сказал я. – На моем луке другая тетива.

– Хорошо, – сказал Мейнер, – так, конечно, будет честнее.

– Честнее?.. Честнее?.. – вскричал я. – Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести?

– Если вам это не нравится, то я не буду этого делать. Вы, по-видимому, считаете вопросы чести чем-то вроде игры в жмурки, а я – нет. Мы по-разному определяем это понятие.

Прямо с этого раздражающего меня свидания, во время которого Мейнер не переставал спокойно рисовать, я направился в мастерскую своего учителя. У меня в руках оставалась только одна карта, и я решил сделать последний ход. Я решил скинуть джентльменское обличье и приступить к искусству в блузе чернорабочего.

– Tiens, это маленький Додд! – воскликнул учитель. Но в ту же минуту его взгляд окинул мой несчастный костюм, и мне показалось, что его приветственное настроение тотчас померкло.

Я рассказал ему по-английски про все мои беды; я нарочно говорил по-английски, зная его слабость к языку островитян, знанием которого он очень гордился.

– Господин профессор, – сказал я ему, – не возьмете ли вы меня снова в свою мастерскую, только на этот раз уже в роли простого работника?

– Но я думал, ваш отца биль огромная богача? – сказал он.

Я объяснил ему, что я теперь сирота и у меня нет гроша за душой.

Он покачал головой.

– Гораздо лучши работник ждут у мой дверь, – говорил он, – гораздо много лучши.

– Но ведь вы до некоторой степени одобряли мою работу, сэр, – говорил я просительным тоном.

– Да, до некоторой степени, до некоторой степени! – вскричал он. – Она и была удовлетворительна для сына богача, но далеко не удовлетворительна для сироты. Вы могли выучиться и стать артистом, но едва ли вы могли бы выучиться быть простым работником.

Я ушел на внешние бульвары и здесь, неподалеку от гробницы Наполеона, уселся на скамью. В то время эта скамейка была осенена деревьями, и с нее открывался вид на грязную дорогу и белую стену. Я сидел и мужественно боролся с моими бедами. Погода стояла ненастная, было пасмурно. За последние три дня я поел только один раз; у меня не было табака; сапоги у меня истрепались, на брюки было смотреть страшно; настроение мое, и все окружающее, и погода сливались в одну мрачную гармонию. Были два человека, которые прекрасно отзывались о моей работе, когда я был богат и не знал никакой нужды, а теперь, когда я стал беден и во всем нуждался, один из них говорил: «Ни малейшего таланта», а другой: «Далеко не удовлетворительно для сироты». Один предлагал оплатить мой проезд на родину, словно снаряжал туда нищего эмигранта, а другой отказывал мне в поденной плате за каменотесную работу, занятие как раз впору для человека с пустым желудком. Оба были неискренни в прошлом, неискренни были и теперь, просто-напросто перемена обстоятельств породила новый критерий, вот и все.

Но хотя я и оправдывал обоих этих утешителей меня, многострадального Иова, в их неискренности, все же я был далек от того, чтоб признать их непогрешимыми судьями. Артистов часто подолгу не признавали, и они смеялись над своими хулителями. В каком возрасте Коро удалось наконец найти в себе жилу благородного металла? Какой молодой человек подвергался более лютым насмешкам, да еще и не лишенным основания, чем мой идеал, мой предмет изумления и поклонения, Бальзак? Но если б я пожелал вдохновиться еще основательнее подобными примерами, что стоило мне повернуть голову вон туда, где сквозь мглу ненастного дня тускло светится золотой купол Дома инвалидов и вспомнить повесть того, кто там покоится! Вспомнить всю жизнь его, с того дня, когда он был еще мелким артиллеристом и над ним издевались резвые барышни, называя его Котом в Сапогах, и до того времени, когда у него было столько побед и столько корон, и столько сотен пушечных жертв, и столько тысяч конских копыт под его командой стучало по дорогам изумленной Европы за несколько миль впереди его великой армии! Уступить, сдаться, признать свое поражение, постыдное поражение, – о, нет, пусть будет сначала ракета, а потом уж ее хвост! Чтобы я, Лоудон Додд, который гордо отринул все другие средства существования, о котором возвестили в Сент-Джозефском «Lunday Herald» как о великом патриоте и артисте, вернулся в свой родной Мускегон как попорченный товар и начал шататься по старым знакомым отца, снимая перед ними шляпу и прося их взять меня к себе на службу, подметать полы у них в конторе! Нет, клянусь именем Наполеона! Я умру на избранной стезе! И пусть те двое, которые отвергли меня, мучаются завистью при виде моего торжества, или захлебнутся слезами от позднего раскаяния, идя за моим нищенским гробом!

Но, хотя мое мужество и не поколебалось, я от этого не подвинулся ближе к своему обеду. Как раз неподалеку оттуда стоял мой кабачок для извозчиков, и виднелся длинный ряд грязных фиакров и словно манил меня. Ведь, может быть, меня туда и впустят, и мне удастся еще раз утихомирить мою утробу.

Но ведь и другое может быть: как раз сегодня у меня перед носом захлопнут дверь с обычным треском. Попытаться можно, отчего не попытаться. Однако в это утро я уже дважды потерпел поражение, и мне казалось, что легче умереть, чем стать лицом к лицу еще с одним. Я набрался мужества и решил оставить это посрамление про запас, на будущее, чтоб не все претерпеть в один день. Надо экономить мужество для большого боя, а не тратить его

на ничтожную стычку в съестной лавочке. И я продолжал сидеть на скамейке неподалеку от останков Наполеона, то одержимый дремотным состоянием, то вновь прибодряясь, то впадая в полную душевную тупость и испытывая лишь какое-то чисто животное удовлетворение от чувства покоя. Я размышлял, строил планы, многое очень ясно вспоминал, тешил себя историями о разных внезапно сваливавшихся с неба богатствах и иногда принимался мысленно закатывать где-то какие-то роскошные пиршества. Тут меня мало-помалу и одолел сон.

Было уже совсем темно, когда холодный душ дождя вернул меня к резкому ощущению голода. Я быстро вскочил на ноги. Одно мгновение я стоял как оглушенный, у меня в голове снова проснулись все мои рассуждения и грезы. Снова затуманил меня образ съестной лавочки, и меня потянуло туда, словно на веревке, и снова я одумался, вспомнив о грозящем там посрамлении.

– *Qui dort dine!*¹⁶ – подумал я. И я колеблющимися шагами побрел к своему жилью по грязным улицам, в которых уже светились окна от зажженных ламп в лавочках, где чудились мне толпы обедающих.

– А, это вы, *monsieur* Додд, – встретил меня наш консьерж. – А вам было заказное письмо. Почтальон доставит вам его завтра утром.

Мне заказное письмо, мне, который так давно не получал их!.. Какое, от кого, я не мог даже догадаться, да и не трудился над этим. У меня сразу, без предварительного придумывания, возник бессовестный план; ложь сочилась из меня, словно какое-то естественное выделение.

– О, – сказал я, – наконец-то прислали мне деньги! Но какая досада, что он не застал меня дома! Не можете ли вы одолжить мне сотню франков до утра!

Раньше я никогда еще не посягал на заем у консьержа; впрочем, на этот раз письмо служило залогом, и он высыпал мне все, что у него нашлось, – три наполеондора да несколько франков серебром. Я с беззаботным видом опустил деньги в карман, да еще для виду помедлил, постоял у дверей. Потом во всю прыть моих дрожавших от голода ног помчался в кафе Ключи. Французская прислуга вообще проворна, но на этот раз на меня не угодила бы никакая расторопность. Я не дождался, пока гарсон поставит на стол вино, хлеб, масло, как мой стакан был уже налит, а рот набит. О, чудный хлеб кафе Ключи, о, изысканный первый стаканчик старого Помара, заигравший в моих ногах, о, неопикуемая первая маслина, подхваченная мной из какого-то *hors d'oeuvre*! Кажется, умирать буду, при последнем издыхании вспомню ваш вкус! Конец этого пиршества и конец вечера для меня тонут в тумане; вероятно, в бургундском тумане, а может быть, отчасти в тумане голодовки, внезапно сменившейся пресыщением.

Впрочем, я хорошо помню тот стыд, то отчаяние, которые овладевали мной утром, когда я вспомнил свою проделку, как я надул бедного честного консьержа; и словно этого еще мне показалось мало, я сжег корабли и вернулся со своим банкротством к себе домой, на свой чердак. Теперь консьерж дожидается этих денег, а мне нечем отдать ему долг; подымется скандал на весь дом, и кончится тем, что придется и отсюда выбираться. «Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести?» – кричал я за день до этого Мейнеру. Ох, этот день! Это канун Ватерлоо, канун Флуда, канун того дня, когда я продал кровлю над своей головой, все мое будущее, уважение к своей личности, за один обед в кафе Ключи!

Но во время всех этих терзаний заказное письмо наконец попало ко мне, и принесло исцеление под своими печатями. На нем стоял штампель Сан-Франциско, где поселился и вел разнообразные дела Пинкертон. Он возобновлял свое предложение насчет выплаты мне стипендии, цифру которой он, благодаря своим поправившимся делам, мог теперь повесить до двухсот франков в месяц. На случай же, если нужда притиснула меня и мне деньги нужны до зарезу, он вложил в послание свое перевод на сорок долларов. Найдутся тысячи причин, по

¹⁶ Кто спит, тот обедает.

которым человек попавший в безвыходное положение, готов стать в полную зависимость от другого; в моем же положении этих причин набралось бы бесчисленное множество, и потому едва двери банка отворились в то утро, как я уже получил деньги по переводу.

Эта продажа себя в рабство приключилась у меня в Декабре. После того я битых полгода влачил длинную цепь признательности и душевной тяготы. Стараясь исполнить свой долг, я пытался превзойти самого себя и создать нечто почище моего Мускегонского Гения; я трудился над маленьким глубоко патриотическим «Знаменосцем», которого предназначал для выставки. Его туда и приняли, и он стоял там долгие дни, никем не замеченный, и вернулся ко мне во всеоружии своего патриотизма. Тогда я, как выражался Пинкертон, всей душой погрузился в часы и канделябры, но эти черти, часовщики и литейщики, каждый раз находили что возразить против моих моделей. Дижон, вечно подтрунивавший над этой художественной поденщиной и считавший ее позором, попробовал было сбывать мои изделия вместе со своими, но покупатели отбирали мои и браковали их; и все они возвращались ко мне домой, как и мой Знаменосец, который теперь, в ряду других истуканчиков, торчал как бельмо на глазу в убогой мастерской моего друга. Мы с Дижоном иной раз целыми часами глядели на эти изваяния. И чего тут только не было, каких стилей: строгого и игривого, и классического, и стиля Людовика XV, начиная с Жанны д'Арк, в ее воинских доспехах, и кончая Ледою с ее лебедем; были даже – да простит мне Бог – юмористические опыты. Мы сидели и смотрели на все это; мы судили, рядили, разбирали и так и этак; по самой строгой оценке нашей выходило, что все-таки это статуэтки что надо; однако никто и даром не брал их.

Тщеславие вещь упорная; бывают и такие случаи, когда оно переживает иного упрянца. Однако по истечении шести месяцев, когда я задолжал Пинкертону около двухсот долларов, да еще половину этой суммы в Париже, я в одно утро проснулся, одержимый странным сознанием одиночества: мое тщеславие выдохлось без остатка за эту ночь. Я не смел глубже погружаться в эту тень; я видел, что на мое злополучное ваятельство не остается никакой надежды; я признал себя наконец побежденным. Я уселся у окна в одной ночной рубашке и скользил взглядом по высоким деревьям бульвара, и когда до моего уха начала доноситься обычная уличная суতোлка, я стал писать окончательное «прости» и Парижу, и искусству, и всей моей прошлой жизни, всему моему прежнему «я».

«Я сдаюсь, – писал я. – Когда получу следующую стипендию, двинусь на Запад, где вы можете делать со мной, что хотите».

По правде говоря, Пинкертон с самого начала звал меня, хотя и не прямо, а косвенно, расписывая свое полное одиночество в кругу своих знакомых, *«среди которых не найдется ни одного с вашим развитием»*, – писал он. При этом он высказывал свою дружбу ко мне в таких выражениях, что мне становилось тяжело при воспоминании о том, как мало я был отзывчив на нее; горевал он и о том, что нет у него никого, кто помогал бы ему; но тут же спешил прибавить похвалы моей твердости, постоянству и побуждал меня оставаться в Париже.

«Помните только, Лоудон, – писал он, – если все это надоест вам там, то здесь для вас найдется дел полные руки, и дел честных, хорошо оплачиваемых, состоящих в разработке богатств этого, в сущности, девственного штата. Я уж и не говорю о том, сколько удовольствия вы доставили бы мне, работая со мной рука об руку».

Теперь, оглядываясь назад, я только дивился, что так долго не откликался на эти призывы, а вместо того тратил деньги своего приятеля на такие дела, которые, я знал, были ему вовсе не по нутру. Но зато когда я очнулся и вполне оценил свое положение, то очнулся уже вполне и окончательно и решил не только в будущем следовать его советам, но и, по возможности, загладить все потери прошлого. Я вспомнил, что в этом смысле я не совсем лишен вся-

ких средств, и, как это ни было тяжело и унижительно для меня, я решился воспользоваться фамилией Лоудонов в ее историческом городе.

Я начал с того, что распростился без малейшего сожаления со всем моим имуществом. Дижон унаследовал от меня и Жанну д'Арк, и Знаменосца, и Мушкетеров. Я в его присутствии связал мои пожитки в новые ремни. Расстался я с ним у дверей кабака и последние несколько часов моего пребывания в Париже провел в полном одиночестве. Один, в пределах, допускаемых моими финансами, заказал я себе обед. Один купил себе билет на Сен-Лазарском вокзале. Одиноким, хотя и окруженный толпой пассажиров, любовался я игрой луны на волнах Сены в Париже, потом на колокольни руанских церквей, потом на лес мачт в Дьепской гавани. Когда первые проблески зари разбудили меня от тревожных снов на палубе, я впервые с удовольствием полюбовался восходом солнца. Я с нетерпением ждал минуту, когда передо мной покажутся зеленые берега Англии из-за розового тумана; я вдыхал соленый воздух полной грудью. Потом вдруг вспомнил обо всем: о том, что я больше уже не артист, что я более не я, что я бросил все, что было мне дорого, и вернулся ко всему тому, чего терпеть не мог, рабом долга и признательности, что я потерпел банкротство полнейшее.

От этой картины моего собственного злополучия моя мысль обратилась к Пинкертону, который, я был в этом уоужден, любовно ждал меня и был полон глубокого уважения ко мне, которого я вовсе не заслуживал, но которого, как я смело мог надеяться, я никогда не утрачу. Наше неравенство крепко поразило меня. Я был бы очень уж туп, если бы мог взирать на всю историю нашей дружбы, не ощущая стыда; ведь я так мало дал, а между тем столь многим спокойно воспользовался.

У меня был в распоряжении целый день в Лондоне, и я хотел как следует свести наши счета с ним. Я исписывал лист за листом, стараясь вылить на бумаге всю полноту моей признательности, все мое раскаяние за прошлое, всю мою решимость вести себя как следует в будущем. До этого времени, писал я ему, я жил, как настоящий эгоист. Таков я был по отношению к отцу и таков же по отношению к другу; я принимал их помощь и поддержку, а сам отказывал им даже в моем обществе и сотрудничестве, хотя они от меня больше ничего и не требовали.

Как велико утешение, доставляемое сочинительством! Едва я сочинил, запечатал и отправил это письмо, как уже во мне расцвело сознание своей выпренной добродетели и разлилось по жилам моим, словно благороднейшее вино!

Глава VI

Я отправляюсь на Запад

Я приехал к дяде на другой день, как раз вовремя, чтоб усесться за завтрак со всей семьей. Прошло чуть не три года, в течение которых в этом устойчивом доме не произошло почти никаких перемен. Тогда я был в первый свой приезд свежий американский юнец, дивившийся на невиданные шотландские кушанья, вроде копченой семги, вахни¹⁷, копченой баранины, и старавшийся отгадать, что такое таится под крышками. Если я и заметил какую перемену, то разве только в том, что вся семья относилась ко мне гораздо почтительнее, чем раньше. Прежде всего, конечно, была отдана дань соболезнования по случаю смерти моего отца грустным покачиванием головы со стороны женской половины семьи, а затем завтрак прошел в изумлении перед моими блестящими успехами. Они были так рады, слыша обо мне такие лестные вещи. Я сделался ведь почти великим человеком. Где теперь эта великолепная статуя Гения?.. Где и другие мои произведения?

– Она не с вами? Она не здесь? – спрашивала меня тупоумнейшая из кузин, встряхивая своими кудряшками. Она, кажется, думала, что я все это привез с собой на извозчике, или держу спрятанное в кармане, словно сюрприз, подносимый в день рождения. В недрах этой семьи, не освоившейся с бессмыслицами дальнего Запада, пышные корреспонденции Пинкертона в «Sunday Herald» были приняты за чистую монету. Трудно было бы и вообразить что-либо более мучительное для меня, чем эти разговоры; в продолжение этого завтрака я чувствовал себя в положении школьника, подвергнутого сечению.

Но наконец этот мучительный завтрак окончился, и я попросил позволения побеседовать с дядей Адамом насчет «моих дел». При этом заявлении физиономия добрейшего человека изрядно вытянулась. Когда это заявление было повторено дедушке (он был туговат на ухо) и он изъявил желание присутствовать при совещании, мне показалось, что грустное настроение дяди Адама на минуту сменилось видимым раздражением. Однако внешность его не выражала ничего, кроме обычной сердечности. Все мы церемонно перешли в соседнюю со столовой библиотеку – мрачный театр для исполнения удручающих дух деловых пьес. Дедушка набил табакком глиняную трубку, уселся у нетопившегося камина и принялся бурно сосать трубку. Утро было холодное и пасмурное, но, несмотря на это, окно позади него было приоткрыто, и штора припущена. Он сидел с каким-то странным видом, словно потерпевший кораблекрушение. Дядя Адам занял позицию за столом посредине. Ряды дорогих книг смотрели со своих полок на всю эту сцену пыток. Я слышал чириканье воробьев в саду и голос моей игривой кузины, усевшейся за фортепиано в гостиной у меня над головой и затянувшей какую-то унылую песню.

В такой-то обстановке, в угрюмом настроении, с какою-то мальчишеской краткостью и отрывистостью, уставившись глазами в пол, я поведал моим родственникам о своем финансовом положении, о своем долге Пинкертому, об утрате всякой надежды на скульптуру, о карьере, которая мне предстояла в Соединенных Штатах, и о том, что, прежде чем продолжать залезать в долги и дальше, я решил рассказать обо всем своим родным.

– Очень сожалею, что вы не обратились ко мне, – сказал дядя Адам, – позволяю себе утверждать, что это было бы приличнее.

– И я то же думаю, дядя Адам, – возразил я, – но ведь я совсем не знал, как вы приняли бы мое обращение к вам.

– Надеюсь, я никогда не оборачивался спиной к моей плоти и крови, – ответил он напыщенным тоном; только моему робкому уху в его тоне послышалось больше раздражения,

¹⁷ Порода трески.

нежели любовного чувства. – Не мог же я забыть, что вы сын моей сестры. Я смотрю на это как на свой долг. У меня нет другого выбора, как принять вполне на свою ответственность создавшееся у вас положение.

Я мог только пробормотать: «Благодарю вас» в ответ на эти слова.

– Да, – продолжал он, – и я вижу что само провидение позаботилось том, что вы явились как раз вовремя. У моей прежней фирмы есть свободная вакансия; они теперь стали называться «Итальянскими оптовиками»¹⁸, – добавил он, подмигивая мне с оттенком юмора. – Вам повезло: мы ведь назывались просто оптовиками. Я завтра же определяю вас на это место.

– Погодите, дядя Адам, – прервал я его. – Я совсем не того хотел бы. Мне хотелось бы только, чтоб вы уплатили мой долг Пинкертону; он человек не богатый. Я прошу вас лишь очистить меня от долга, а не о том, чтобы вы меня обеспечили на всю мою жизнь.

– Если б я пожелал быть с вами резким, я мог бы вам напомнить, что попрошайка не располагает свободным выбором, – сказал мой дядя, – что же касается до устройства вашей жизни, то вы уже пытались сами это сделать, и сами видите, что из этого вышло. Теперь вам волею-неволей приходится подчиниться руководству людей более солидных по летам и более разумных, чем вы сами. Что же касается ваших друзей (о которых мне ровно ничего не известно), их планов и предложений, и разговоров о каких-то открытиях на дальнем Западе, – я просто-напросто ничего не хочу знать обо всем этом. В том же положении, какое я, по счастливой случайности, могу вам предоставить, и за которое любой благоразумный молодой человек с радостью ухватился бы, вы будете, для начала, зарабатывать восемнадцать шиллингов в неделю.

– Восемнадцать шиллингов в неделю! – вскричал я. – Да мой бедный друг даром давал мне больше этого!

– Это тот самый друг, об уплате долга которому вы теперь хлопочете? – заметил мой дядя с видом человека, готового выдвинуть решительный довод.

– Адам... – произнес мой дедушка.

– Я очень сожалею о том, что вы присутствуете при этом совещании, – обращаясь к каменщику с деланной любезностью ответил дядя, – но должен вам напомнить, что вы сами того хотели.

– Адам... – повторил старик.

– Я слушаю вас, сэр, – сказал мой дядя.

Дедушка два-три раза пыхнул своей трубкой, не говоря ни слова, а затем промолвил:

– Мне тошно смотреть на тебя, Адам.

Дядя, видимо, был задет этим оскорблением.

– Очень жалею, что это так, – сказал он, – и еще больше жалею о том, что это было высказано в присутствии нашего собеседника.

– Верю, что тебе это неприятно, – сухо ответил ему старый Лоудон. – Да ведь я не из церемонных. Слушай, милый мой, – обратился он ко мне. – Я твой дед, так ведь? Не обращай внимания на Адамовы слова. Я помогу тебе. Я богат.

– Батюшка, – сказал дядя Адам, – я хотел бы поговорить с вами наедине.

Я встал.

– Сиди, сиди! – крикнул мне дедушка почти свирепым тоном. – Если Адаму надо что сказать, так и пусть говорит. Деньги, какие здесь есть, – мои, черт побери! И меня должны слушаться!

На эти обращенные ко мне ободрительные слова дядя, по-видимому, не нашел никакого замечания. Дважды приглашенный говорить, он дважды уклонился. Мне показалось, что он вдруг проникся ко мне нерасположением.

¹⁸ В подлиннике: «Italian Warehousemen», это значит, собственно, – продавцы съестных припасов.

– Слушай-ка, что я скажу! – сказал дедушка. – Ты сын моей Дженни! Я устрою тебя. Твоя мать всегда была моей любимицей, а с Адамом я никогда не ладил. Я и тебя люблю; ты разумный парень, ты хорошо понимаешь строительное дело. Ты был во Франции, а мне говорили, что там отличные знатоки штукатурной работы. А у нас во всей Шотландии не найдется такого строителя, который бы так много занимался штукатуркой, как я. Если ты займешься этим делом с теми деньгами, какие я тебе дам, так ты сделаешься богаче меня.

Дядя Адам прокашлялся и сказал:

– Это прекрасно, отец, и я уверен, что Лоудон чувствует это. Это прекрасно и справедливо. Но позвольте мне высказать вам, что, быть может, было бы лучше, если бы это оформить в виде документа.

Вражда, всегда теплившаяся между этими двумя людьми, при этих словах едва не вспыхнула ярким пламенем. Старый каменщик повернулся к своему отпрыску и вытянул губы, словно раздраженная обезьяна, некоторое время храня молчание, а потом сказал:

– Позвать Грегга!

Слова эти произвели видимый эффект.

– Он ушел к себе в контору, – пробормотал дядя.

– Позвать Грегга! – повторил дед.

– Я же вам говорю, что он в конторе, – повторил дядя.

– А я тебе говорю, что он ушел покурить, – возразил старик.

– Ну, хорошо! – крикнул дядя, с раздражением поднимаясь с места. – Я сам схожу за ним.

– Не надо! – крикнул дед. – Сиди здесь, не уходи!

– Но, черт возьми, как же его тогда позвать! – крикнул дядя с большой раздражительностью.

Дедушка вместо ответа взглянул на своего сына с какой-то школьнической усмешкой и позвонил.

– Возьми ключ от сада, – сказал он вошедшему слуге, – пойди туда, и если мистер Грегг, стряпчий, там, – а он всегда сидит под боярышником, – скажи, что старый мистер Лоудон ему кланяется и просит его сюда прийти на минутку.

«Мистер Грегг, стряпчий!»... Я сразу понял то, что сначала было для меня загадкой, – значение слов моего дедушки и тревоги бедного дяди. Дело шло о завещании дедушки.

– Послушайте, дедушка, – сказал я, – я не добиваюсь ничего подобного. Все, чего я желал, – это была ссуда, примерно фунтов в двести. Я сумею сам о себе подумать, у меня есть друзья в Соединенных Штатах, и имеются в виду благоприятные случаи и надежды...

Старик махнул мне рукой.

– Здесь я говорю, – отрезал он.

Мы все трое замолчали и стали ждать стряпчего. Он наконец явился; служанка доложила о нем. Это был сухой, но не угрюмый человек, в очках.

– Слушайте, Грегг, – крикнул ему дед, – вот в чем дело. Что может сделать Адам с моим завещанием?

– Боюсь, что я не верно вас понимаю, – проговорил ошеломленный законник.

– Что он имеет право сделать? – повторил старик, колотя кулаком по ручке кресла. – Мои деньги чьи – мои или Адамовы? Может Адам ими распорядиться?

– О, я понимаю теперь, – сказал Грегг. – Ну конечно, нет. При бракосочетании ваших детей оба они получили известную сумму на раздел. Вы, без сомнения, помните это обстоятельство, мистер Лоудон.

– Ну, коли так, – заключил дед, колотя кулаками, словно молотком, – значит я могу все, что после меня останется, отдать кому хочу, хоть самому великому Магуну? (Он, должно быть, хотел сказать: Великому Моголу).

– Без всякого сомнения, – с легкой улыбкой ответил Грегг.

– Слышишь ты, Адам? – спросил дед.

– Позволю себе заметить, что мне нет никакой надобности слышать это, – сказал дядя.

– Отлично, – сказал дед. – Теперь вы оба, ты и сын Дженни, можете пойти прогуляться.

Мы с Греггом закончим это дело вдвоем.

Как только мы очутились вдвоем с дядей Адамом, я, с болью в сердце, повернулся к нему.

– Дядя Адам, – сказал я ему, – вы лучше меня самого поймете, до какой степени все это мучительно для меня.

– Да, сожалею, что вы видели вашего дедушку в таком нелюбезном состоянии духа, – ответил этот необыкновенный человек. – Вы, однако же, не допустите, чтоб это произвело на вас слишком сильное впечатление. У него ведь удивительный характер. Я не сомневаюсь, что он будет очень щедр к вам.

Но я не хотел отвечать на это примирительное настроение дяди. Я не хотел оставаться в этом доме и не намерен был никогда в него возвращаться. Было решено, что через час я буду в конторе стряпчего, которому дядя Адам об этом скажет, когда тот будет уходить. Мне кажется, что никогда еще не создавалось такого головоломного положения. Выходило так, как будто я получил холодный отказ, а твердый Адам был великодушным победителем, которому не хотелось злоупотреблять своим триумфом.

Ясно было, что мне собираются выделить мою часть наследства. При таких-то обстоятельствах мне было теперь предоставлено размышлять, слоняясь по улицам нового города, совещаясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, наслаждаясь картинами в окнах магазинов и возобновляя свое знакомство с Эдинбургом. Час спустя я направился к конторе мистера Грегга, где мне был с надлежащей речью вручен чек на две тысячи фунтов и пачка книг по архитектуре.

– Мистер Лоудон просил меня еще сказать вам, – продолжал законник, просматривая свою записную книжку, – что хотя все эти книжки очень ценны для зодчего, но что вам надо заботиться о самобытности, самостоятельности в работе. Он говорил, чтобы вы смело доверялись порландскому цементу, и что при надлежащей примеси песку он является очень прочным строительным материалом.

Я улыбнулся и сказал, что, наверно, он будет очень прочен.

– Мне однажды случилось жить в доме, построенном моим достопочтеннейшим клиентом, – заметил стряпчий, – и мне казалось, что он простоит очень долго.

– Только дело-то в том, сэр, – сказал я, – что я не имею ни малейшего желания быть архитектором.

При этих словах он от души расхохотался. Лед был сломан и я решил посоветоваться с ним насчет того, как мне вести себя. Он настаивал на том, чтоб я вернулся в дом, хотя бы к завтраку и к обычной моей прогулке с дедушкой.

– А вечером я вас вызволю, если хотите, пригласив вас на холостяцкий обед к себе. Но завтрака и прогулки, по-моему, вам не избежать, неловко будет. Надо угодить старичку; да притом он, кажется, в самом деле очень любит вас и будет очень огорчен, если увидит, что вы как будто избегаете его. Что же касается мистера Адама, то с ним излишняя деликатность, пожалуй, будет и неуместна. Ну, а теперь скажите, мистер Додд, что вы намерены делать с этими деньгами?

А ведь это в самом деле вопрос! С двумя тысячами фунтов, то есть пятьюдесятью тысячами франков, я могу вернуться в Париж и снова заняться искусством и зажечь по-царски в этом экономном Латинском квартале. С одной стороны, я радовался тому, что послал Пинкертону мое письмо из Лондона; а с другой стороны – горько в этом каялся. В одном только пункте все мое существо чувствовало полное удовлетворение: письмо было уже отправлено, значит, и мне самому оставалось только отправиться вслед за ним. Согласно всем этим соображениям деньги мои были разделены на две неравные части. Одна часть была переведена на

имя Дижона, в Париж, чтобы он заплатил все мои долги, а другая часть осталась у меня, и Грегг дал мне на нее переводной вексель на Сан-Франциско.

Дальнейшие мои дела в Эдинбурге, кроме очень приятно проведенного обеда со стряпчим и ужасного фамильного завтрака, приняли форму прогулки с старым подрядчиком, который на этот раз не водил меня по пригородам и не показывал выстроенных им домов, но повел меня прямо к тому, более прочному и предназначенному на вечное пребывание жилищу, которое он заготовил для своих бранных останков. Оно было на кладбище, странным образом втиснувшимся между стенами тюрьмы, на краю скалы, покрытом надгробными камнями и окруженном деревьями и плющом. Восточный ветер, должно быть, очень тяжкий для старика, сотрясал ветви, и скудное солнышко шотландского лета рисовало их движущиеся тени.

– Я хочу, чтоб ты видел это место, – говорил он. – Вот они. Вот тут Эвфемия Росс – моя покойная жена, твоя бабушка... Ох, вру, это не она, это моя старшая дочь; твоя мать – вторая дочь. Вот тут – Мэри Моррей, родилась в 1819 году, умерла в 1850; славное было создание. Вот тут Александр Лоудон, родившийся в 1792 году, а дальше пустое место; это я буду тут лежать. Мое имя Александр. Меня, когда я был маленький, звали Экки. Эй, Экки, теперь уж ты стал стариком!

Потом было у меня другое, более грустное посещение кладбища, на моей второй остановке в пути, в Мускегоне, который стал теперь куда величественнее благодаря куполу нового Капитолия, окруженному лесами. Я прибыл туда днем, в дождливую погоду. Я двигался по большим улицам, имена которых были мне неизвестны; по ним тянулись двойные, тройные, четверные ряда экипажей; над ними тянулись сотни телеграфных и телефонных проводов, затмевавших небо у меня над головой; меня с обеих сторон обступали громадные многоэтажные дома. И тут мне вспомнился мой дом на улице Расина и мой извозчикий кабачок, и эти воспоминания вызвали у меня слезы. После моего отъезда из Мускегона из него вырос такой монотонный Вавилон, что мне то и дело приходилось расспрашивать про дорогу. И кладбище оказалось другое, новое. Смерть, однако, не сидела сложа руки в Мускегоне, и могил было уже изрядное количество; я долго брел под дождем среди роскошных памятников миллионеров и скромных черных крестов бедняков, пока инстинкт или случай не привел меня к могиле моего отца. Над ней был надгробный камень, поставленный «признательными друзьями», о котором я уже знал; теперь я мог судить о их вкусе по части монументов; мог также судить и о их литературном вкусе и стиле, когда подошел вплотную к камню и прочел надпись на нем. Имя было начертано крупными буквами:

«ДЖЕМС К. ДОДД»

«Странная вещь имя человека! – подумал я. – Как оно вцепляется в человека, как оно иной раз неверно его представляет, как оно переживает его!» И вот я теперь с какой-то странной смесью сожаления и горькой радости подумал о том, что я никогда не знал, и, вероятно, не узнаю, что обозначает эта буква К. Кильтер, Кай, Кайзер – перебирал я в уме, и наконец почему-то уперся в имя Корнелиуса и чуть-чуть не расхохотался. Никогда еще кажется, я не был в таком ребяческом настроении, и, быть может, именно потому, что был глубоко растроган. Но среди этого ни с чем несообразного нервного веселья я был охвачен настоящей бурей угрызений совести и быстро обратился в бегство с кладбища.

Я остался в Мускегоне на несколько дней, посещая друзей и знакомых моего отца; к этому меня побуждало чувство благоговения к его памяти, но я смело мог бы не тратить напрасно времени. Его, правда, помнили, и ради него меня радушно принимали. Но его видимо уже начали забывать. Разговоры, с трудом и натугой вращались вокруг добродетелей покойного; друзья и знакомые, пока я говорил с ними, вспоминали его деловые таланты, его ревность к общественным интересам, но когда я уходил, они больше уж и не вспоминали о нем. Отец любил меня. Я бросил его одного жить и умереть среди равнодушных чужих; теперь я вернулся и нашел его умершим, погребенным и забытым. Мое позднее раскаяние побудило меня при-

нять новое решение. Я вспомнил о другой душе, которая прилепилась ко мне, – о Пинкертоне. Я не должен был дважды делать одну и ту же ошибку.

Я опоздал на целую неделю и не известил об этом своего друга. Когда я пересаживался на другой поезд в Консил-Блуфсе, я увидел человека, который, войдя в вагон и держа в руке телеграмму, спрашивал, нет ли тут пассажира по имени *Лондон Додд*? Я счел, что это имя подходит к моему достаточно близко, чтоб я мог овладеть этой телеграммой, и увидел, что она от Пинкертона и гласит: – «*В какой день прибудете? Очень важно*». – Я отправил ему ответ, обозначив в нем день и час, а в Огдене меня ожидала новая депеша: «*Несказанно рад, встречу вас в Сакраменто*». В парижские дни у меня было придумано прозвище для Пинкертона: «*Неукротимый*» – так звал я его в минуты раздражения, и на этот раз кличка припомнилась мне. Наверное, он опять надумал какую-нибудь штуку. В какую новую затею впутаюсь я на берегах Тихого океана? Моя вера в этого человека и мое недоверие к нему стояли на одинаковой высоте. Я знал, что он ничего не сделает с дурным умыслом, и в то же время был уверен, что ничего он (с моей точки зрения) не сделает как следует.

Эти неопределенные опасения еще более стусили тени моего путешествия. Небраска, Вайоминг, Юта, Невада мелькали передо мной и, как мне казалось, заслоняли от меня мой другой родной край – Латинский квартал. Но когда наконец перевалили через Сьерру и поезд загромыхал на равнине по ту сторону гор, когда я увидел перед собой бесконечную ширь процветающей страны, тянущейся от горных лесов в сторону океана, и безграничные хлебные поля, и деревья, растущие и цветущие вдоль железной дороги, и мальчиков, толпами осаждавших поезд, предлагая фиги и персики, и ломовиков и фермеров, по горло погруженных в свои деловые хлопоты, моя душа воспарила, словно воздушный шар. Забота, навалившаяся на мои плечи, слетела с них, как курица с нашествия. И когда в толпе, собравшейся для встречи поезда в Сакраменто, я рассмотрел моего Пинкертона, я думал только об одном – кричать и махать ему и схватить его в свои объятия, этого дражайшего из моих друзей.

– О, Лоудон, – кричал он, – друг вы мой, как я страдал о вас! И вы явились как раз вовремя. Здесь вас уже знают и ждут. Я уж тут нашумел о вас. В газетах уже объявлено о том, что вы завтра вечером читаете лекцию: «*Студенческая жизнь в Париже, ее серьезные и веселые стороны*». Двенадцать тысяч мест уже продано... Но постойте, вы что-то нехорошо выглядите! Вот выпейте-ка капельку этой штуки.

И он подал мне бутылку с режущей глаза надписью:

«Пинкертоновская тринадцатизвездочная водка, гарантированная цельная».

– О, Господи! – воскликнул я, разинув рот после первого же глотка этой свирепой жидкости. – Но я не понимаю, что значит «гарантированная цельная»?

– Ну вот еще! Вы должны это знать! – ответил Пинкертон. – Это настоящая английская надпись, и вы могли ее видеть на всех придорожных кабачках!

– Но, если не ошибаюсь, она обозначает, что за вещь ручаются, что она особенная, отличная от обычного, – сказал я, – и относится это к заведению, а не к напиткам, которые в нем продаются.

– Может быть, и так, – сказал Джим, нисколько не смущаясь. – Но надпись оказывает свое действие, и я вам доложу, сэр, что из-за нее это пойло чудесно прославилось и продается теперь дюжинами ящиков... Да, я надеюсь, вы ничего не будете иметь против, – я заказал ваш увеличенный портрет с визитной карточки, и его носят по всему Сан-Франциско при объявлениях о завтрашней лекции и с надписью: «*Лоудон Додд, американо-парижский скульптор*». Вот тут я захватил с собой маленькие объявления для раздачи на улицах; они такие же, только те напечатаны красным и синим.

Я смотрел на этот листок, и у меня голова шла кругом. К чему послужили бы слова? Зачем напрасно пытаться разьяснить Пинкертону весь ужас выражения «американо-парижский»? Он сказал бы, что это придает двойной блеск имени. Когда мы приехали в Сан-Фран-

циско и я увидел эти мои изображения на громадных афишах, я выразил свои чувства и мысли в словах, но мне никак не удалось сообщить Пинкертому своего отвращения к такой рекламе.

– Если бы я знал, что вам так не нравятся красные буквы! – вот все, что он уловил в моих сетованиях. – Вы правы, правы, – твердил он. – Черные буквы гораздо лучше, да их и видно гораздо дальше... Да, портрет, ну... так ведь если б я знал, что это вам не понравится... Но уверяю вас, что это вышло очень удачно, и все газеты теперь подхватили...

– Но послушайте, Пинкертон, – перешел я прямо к сути дела, – ведь эта лекция самая сумасшедшая из всех ваших сумасшедших затей. Ну как я могу приготовить лекцию в тридцать часов?

– Да она уже готова, Лоудон! – с торжеством воскликнул он. – Она готова! Готова и переписана на машинке и лежит готовая у меня дома на конторке. Ее составил самый бойкий писатель в Сан-Франциско, Гарри Миллер, самый блестящий литератор во всем городе.

И он продолжал трещать, не слушая моих возражений, о своих очень осложнившихся делах, о своих новых знакомствах, и все повторял, что познакомит меня с каким-то великим человеком, «острым, как игла», от которого я уже заранее инстинктивно пятился, не чуя добра в этом новом знакомстве.

Ну, ладно, пусть будет так! Я вступлю во всю эту Пинкертоновскую затею, помирюсь с портретом и с лекцией, переписанной на машинке. Я только взял с него обещание, что впредь он никогда не выдвинет меня ни в какой затее без моего ведома. Но я чувствовал, как ему это было тягостно, и мне было жаль его, но я досадовал, что мне приходится волей-неволей идти за ним теперь на веревочке. Я называл его «Неукротимым», а пожалуй, лучше было бы назвать его «Неотразимым».

Но взглянули бы вы на меня, когда я уселся за чтение лекции Гарри Миллера! Забавный парень был этот Гарри Миллер! У него было удивительное умение ходить вокруг да около самых скромных сюжетов, но таких, что у меня они вызывали что-то вроде физической тошноты. Он обладал также мастерством по части изображения в сентиментальном, даже мелодраматическом тоне гризеток и умирающих с голоду гениев. Он, очевидно, широко воспользовался моими письмами к Пинкертому. Мои собственные приключения то и дело выступали на сцену в самом ужасном виде, мои собственные чувства отразились в его лекции в таком виде, что я весь пылал от стыда. Но я должен отдать справедливость Гарри Миллеру: у него был несомненный литературный талант, почти гений. Все мои попытки смягчить его произведение своими вставками оказались бесплодными; я не мог стереть с его лекции печати гарримиллеризма. У него был своеобразный стиль, который было невозможно нарушить; мои вставки, как я с ними ни бился, до такой степени не гармонировали с его текстом, так шли с ним вразрез, что не только не смягчали его, а, наоборот, только подчеркивали и усиливали.

В начале вечера, назначенного для лекции, меня можно было видеть обедающим в ресторане «Пуделя» вместе с моим «агентом» – так Пинкертому было благоугодно называть себя. Потом он меня отвел, словно быка на веревке, которого волокут на бойню, в зал, где я очутился лицом к лицу с публикой Сан-Франциско, столом, стаканом воды и кучей рукописных и машинописных заметок, которые представляли меня и Гарри Миллера. Я прочел лекцию. Так как у меня не было времени выучить ее наизусть, то читал я с заминками, нетвердо, конфузясь. Временами мне удавалось уловить в толпе слушателей пристальные взгляды, но временами я запинаясь около чересчур живых мест лекции Гарри Миллера, и тогда сердце во мне падало и я начинал неясно бормотать. Публика зевала, пошевеливалась, тихонько роптала, ворчала и наконец послышались громкие замечания, вроде: – «Говорите громче!» – «Ничего не слышно!» Я начал пропускать целые абзацы лекции и, будучи плохо ознакомлен с рукописью, по которой читал, то и дело попадал на самые неудачные места, так что речь моя далеко не всегда была удобопонятна. Особенно зловещим казалось мне, что все эти мои комические выпады принимались публикой молча, без хохота, который они должны были вызывать. Я начал поба-

иваться кое-чего худшего, даже чего-нибудь вроде личного оскорбления, но весь юмор того, что происходило, внезапно разбился о меня. Публика расхохоталась, и когда после того меня попросили продолжать, я в первый раз смело взглянул на моих слушателей с улыбкой и сказал им:

– Очень хорошо, я попытаюсь, но не думаю, чтобы кто-нибудь желал слушать меня, да и не вижу причины, почему бы кто-нибудь мог этого пожелать.

Тут и публика, и сам лектор расхохотались до слез; громкие возгласы и шумные рукоплескания наградили мою внезапную выходку. Я перевернул разом три страницы рукописи и позволил себе новую выходку.

– Вы видите, – сказал я, – я пропускаю как можно больше!

Публика от этого прониклась еще большим сочувствием ко мне и, когда я закончил и уходил, меня провожали хохотом, топаньем, криками и маханьем шляп.

Пинкертон ждал меня в другой комнате, пожираемый нетерпением: он быстро писал что-то в своей записной книжке. Увидав меня, он ринулся ко мне со слезами на глазах.

– Милый мой, – вскричал он, – я никогда не прощу себе, да и вы никогда не простите меня! Но, клянусь, вам, я действовал с добрым намерением! И как вы ловко выпутались! А я уж думал, что нам придется вернуть деньги.

– Это было бы честнее всего с нашей стороны.

За мной гнались представители печати с Гарри Миллером во главе. В общем это были славные люди, и в особенности Гарри Миллер, который выглядел истинным джентльменом. Мы уселись за устрицы и шампанское, потому что выручка от лекции была превосходная, и так как я был в очень приподнятом нервном настроении, то пир у нас вышел очень шумный. Никогда, кажется, в жизни, не был я так вдохновлен, как на этот раз, когда разглагольствовал о литературном стиле Гарри Миллера и о моих чувствах перед лицом моей аудитории. Мои собутыльники заявили мне, что считают меня душой доброй компании и настоящим царем лекторов. И если б вы прочли газетные отчеты о моей лекции, появившиеся на другой день, вы остались бы в убеждении, что я имел небывалый, выдающийся успех.

Я вернулся домой в прекраснейшем расположении духа, но бедный Пинкертон терзался вдвойне, за нас обоих.

– О, Лоудон, – говорил он, – я никогда не прощу себе! Право, если б вы отказались от лекции, то я, кажется, решился бы сам прочесть ее.

Глава VII

Железо в огне

Opes Strepidumque

Пища телесная не слишком различается для глупца и умного, для слона и воробья; одни и те же химические элементы, в разных формах, поддерживают смертных. Непродолжительное наблюдение над Пинкертоном в его новом положении убедило меня в аналогичной истине по отношению к другому, духовному пищеварению, посредством которого мы извлекаем из жизни, как говорится, «удовольствие за свои деньги». Как школьник, погрузившись в Майн Рида, орудует не стреляющим ружьем и бродит по воображаемым лесам, так Пинкертон ежедневно спешил по Кэрни-стрит к своим занятиям, разыгрывая в мыслях яркую роль на жизненной сцене и радуясь часами, если ему удавалось потереться около миллионера. Реальность была его романом; он гордился своими занятиями, с головой уходил в свое дело. Представьте себе человека, который откопал галион на Коромандельском берегу, и пока его валкая шхуна уходит в открытое море с неполной парусностью, он мерит ведрами золотые слитки на бурном взморье; такой человек, быть может получит гораздо большую материальную добычу, но не извлечет из своего дела больше романтического интереса, чем Пинкертон, когда он подводил еженедельный баланс в своей жалкой конторе. Каждый выигранный им доллар был подобен сокровищу, извлеченному на берег из таинственных недр; каждое предприятие уподоблялось нырку водолаза; и запуская свою смелую руку в гущу денежного рынка, он с наслаждением чувствовал, что потрясает основы существования, рассылет людей, с боевым криком работать в дальние страны и перетряхивает золото в сундуках миллионеров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.